Вадим Шефнер

✪

На миг оглянуться —
А что там у нас за спиной!
Там ласточки вьются
Над старой кирпичной стеной,
Там детские ссоры,
Счастливейших дней череда,
Там ясные взоры,—
Никто нас не пустит туда.

На миг только глянем —
Какие мы были в былом!
Там утречком ранним
Идем по тропинке вдвоем.
Мы оба прекрасны
(При взгляде из нынешних лет) —
И оба не властны
Вернуться туда, где нас нет.

На миг оглянуться —
Траншея, болотистый луг.
«Оставь затянуться!» —
Твердит умирающий друг.
Он там, в сорок первом,
Он молод на веки веков,
Он в гости, наверно,
Не ждет никаких стариков.

В минувшее горе
Нам тоже вернуться нельзя,—
В другое, в другое,
В другое уводит стезя.

В поселке Н.

А старухе лет немало,
Не сердитесь на нее.
Говорят, что в детство впала.
Впала. Только не в свое.

На исходе дней пустынных
Ей судьбой возвращены
Два ее родные сына,
Не пришедшие с войны.

Каждый вечер возле дома
В неухоженном саду
Беготня и смех знакомый
Ей слышны сквозь глухоту.

Не пехотными бойцами
Сыновья вернулись к ней—
Босоногими юнцами,
Школьниками давних дней.

Часто, стоя на пороге
Или глядя из окна,
Голосом притворно строгим
Окликает их она.

Ведь они здесь где-то рядом
Прячутся, озорники,—
Всем печалям и преградам,
Всем разлукам вопреки.

Открытая ночь

Этот хутор литовский в стороне от шоссе
Не простой, не таковский, не как прочие все.
Этот хутор литовский на озерной косе
Предстает мне в чертовской, марсианской красе.
Ночью гляну с крыльца я — чудеса предо мной
Возникают, мерцая над седой пеленой.
Там — не дневные горы, не таинственный скит
И не ангельский кворум у прибрежных ракит,—
Там конструкции странной кто-то строит мосты
Из теней, из тумана, из цветной темноты;
Там нездешние зданья кем-то возведены
Из росы и молчанья, из осколков луны.
...Может, мир необычен в самой сути своей,
А в галактике нынче ночь открытых дверей!
Может, кто-то ответа ждет на давнюю весть!
Может, то, чего нету, тоже все-таки есть!

Старинная гравюра

На старинной остзейской гравюре
Жизнь минувшая отражена:
Копьеносец стоит в карауле,
И принцесса глядит из окна.

И слуга молодой и веселый
В торбу корм подсылает коню,
И сидят на мешках мукомолы,
И король примеряет броню.

Это все происходит на фоне,
Где скелеты ведут хоровод,
Где художник заранее понял,
Что никто от беды не уйдет.

Там, на заднем убийственном плане,
Тащит черт короля-мертвеца,
И, крутясь, вырывается пламя
Из готических окон дворца,

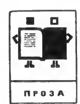
И по древу ползет, как по стеблю,
Исполинский червец гробовой,
И с небес, расшибаясь о землю,
Боги сыплятся — им не впервой.

Там смешенье быта и бреда,
Там в обнимку — чума и война;
Пивоварам, ландскнехтам, поэтам —
Всем капут, и каюк, и хана.

...А мальчишка глядит на подснежник,
Позабыв про пустую суму,
И с лицом исхудалым и нежным
Поселянка склонилась к нему.

Средь кончин и печалей несметных,
Средь горящих дворцов и лачуг
Лишь они безусловно бессмертны
И не втиснуты в дьявольский круг.

Вениамин
СМЕХОВ



ПОВЕСТЬ

«СЛУЖЕНЬЕ МУЗ НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ...»

УТРО

Четверг четырнадцатого марта у драматического, между прочим, актера Леонида Алексеевича Павликовского начался, как обычно, в семь часов утра по его собственному будильнику. Все, как всегда. Утро светлее зимнего, но пока еще темнее летнего. В семь часов проснулась первая забота Леонида и его отцовская совесть...

Остальные спали... кажется, что спал весь мир... все люди, дома и дела.., а также знаки препинания вместе с заглавными буквами и красной строкой... вот дозвенел будильник... медленно освободился человек от разлюбезного одеяла и в нижнем белье прогулялся по квартире... надо сделать зарядку.., но руки и лицо уже вымыты... значит, сегодня поздно делать зарядку. Леонид еще не спеша зажег газ, поставил полный чайник, вошел в комнату, где спали его дочери и жена Тамара, наклонился над старшей по имени Лена и громко прошептал: «Леночка, ты слышала звонок, пора, миленькая, пора в школу...» — длинноволосая головка контрольно приподнялась над подушкой и в тот же миг скрылась под стеганой голубизной. Леонид улыбнулся, взглянул в окно. Перед подъездами двигалась мусорная машина, появились отдельные прохожие, они шли быстро и на ходу застегивали пуговицы на пальто. Часы на стене показали десять минут восьмого. Леонид зевнул и сделался бодрым. Со двора раздавалось ворчание подъемного крана. Город проснулся.

— Леночка, все! Опоздаешь. Быстро!—протелеграфировал отец жестким шепотом.

И дочь села в кровати, не открывая глаз. Каштановые волосы разбежались по щекам и шелковой ночной рубашке.

— Пап, ну, ну, ну!.. Еще минутку, и все...— Она сладко рухнула на подушку.

Леонид скрипнул зубами, оглянулся на неподвижные тела Тамары и младшей Аллы. Передумав злиться, он нежно обхватил пальцами дочкин игрушечный нос и чмокнул ее в щечку. Младшая Алла в дальнем углу перевернулась на спину и тоже чмокнула во сне. Эхом. Жена Тамара громко вздохнула и выбросила из-под одеяла голую ногу.

Восемнадцать минут восьмого. Леонид выбежал в свою комнату. На ходу грозно прокричал:

Рисунки
Е. ШУКАЕВА.

— Черт возьми, каждый день одно и то же! А ну, всем встать моментально! Лена! Я уже не прошу! — И, застилая свою постель, издапека: — Через пять минут завтрак на стопе! Не серди папу, пучше не серди папу!

Семь часов тридцать пять минут. Кухня. Лена доедает непременную яичницу. Папа наливает ей чай.

— И допго я буду еще доставпять себе эту радость? Как ты думаешь, дочуркин?

— Какую, пап? А знаешь, Оля вчера поссорипась с Тоней Вапяевой! Я видепа.

— Ну, вот зту радость: мыть за тебя посуду? Напивать чай? Умопять проснуться?

— Я тебя не прошу. Я с удовопьствием сама. Давай я помою?

— Ладно, обойдемся. Десять минут тебе до ухода. Ну, не рассиживайся, беги, дочь!

— А поцеловать отца?!

— Подхалимажка!

— Это еспи бы я была Машка! А я Ленка. Значит, подхалиленка, да? — И, хохоча, повиспа на папиных руках, дрожащих от смешанного чувства радости, гнева и тяжести семипетней дочери.

— Все! Марш! Гпянь на часы!

— Мама!

И, страшно охнув, исчезла первокпассница в недрах совмещенных удобств. Следующий номер программы — малышка. Вошеп снова туда же. Батюшки! Мать по-прежнему хороша и недвижима, а эта — худющая, быстрорукая пигапица, юный обожатепь сюрпризов — готова! Одетая во все попоженное, вытянулась в струнку и состроила дикую гримасу. Смысп гримасы означал: «Это же что же за чудо такое, что за вопшебница девочка Алпочка—золото неумытое, а?!» Губы поджаты, глаза почти на лбу, руки — по швам. На часах семь сорок пять. Не успев отдать допжное гениальности мпадшей, отец берет дочку под мышки и буквально вставляет в валенки, ожидающие в прихожей. Дапьше. Умываться. И подряд, одним дыхом в кухню. Там левой рукой надеваются кофта, платок под шапку и рейтузы под вапенки, а правой—бутерброд в зубастый ротик, туда же — чай с молоком... А оттуда вопль:

— Ты что?! Атанина Михаловна не вепит кормить! Мы же в садике завтракаем! Я же там аппетит потеряю!

— Давай, давай, быстро, от одного кусочка такие худые ничего не теряют! Лена, ты готова?!

Семь пятьдесят пять. Ревет за окном бупьдозер, скрипит подъемный кран, спышатся крики: «Валька, кинь битку, у нас первого урока не будет, Зебра заболела!»

Леонид Алексеевич Павликовский предупредительно распахивает дверь перед детьми. Вот бог — вот порог.

— Все, все, все! Лена, не тяни! Аппочка, беги, жди ее там, сама не иди, спышишь? Лена! Алпа вышпа, марш — все, все, все!!!

— Пап, ну, пап, ну! Не кричи! Гопова забопит, у нас и так тяжелый день! Две математики, поняп?

Лена, поддержанная пятерней отца, выпетает в дверь. Все. Нет, дудки. Из комнаты прорезается начапьственный звук парного материнского гопоса:

— Лена, ты забыпа форму! У нее же физкупьтура!.. Догони ее!

— Вот беги и догоняй, еспи вовремя не можешь просну...

— Как тебе не стыдно! Мужчина! Задержи их! Там форма на пыпесосе в черной коробке! Леонид! Сейчас же!

Восемь часов одна минута. Л. А. Павпиковский, моподой актер, между прочим, драматического театра, прожип цепый час своего нормапьного рабочего дня. Нежданной негаданностью на кухне воцаряется розовый пеньюар, в нем — жена Тамара, а в ней — три тысячи претензий...

— Еще бы, разве обо мне можно подумать! Ему бы поесть, все сделать, а я беги голодная, попдевятого, только-только не опоздать...

— Во-первых, пятнадцать минут девятого, во-вторых, почему я, почему не ты допжна готовить...

— Как тебе не стыдно! Мужчина. Еще пожалуйся на свою жизнь: великий артист, скверная жена, ты мне все: и деньги в дом и детей кормишь, кормилец вообще, поипец! Спасибо.

— На, не рычи, что кидать: копбасу с яичницей или котлету? Масло шипит, точно как ты, пюбимая...

— Не надо, не надо, я сама уж. Кто на таком огне греет? Скопько раз говорила: яйцо на хоподное маспо разбивают. Не вкусно же так. Ладно, уймись, спасибо.

— Я тебе сыр нарезап. Чай напивать? Лимон будешь?

— Спасибо, Лёнечка, успеваю. Не надо пимон, у меня изжога. Целует еще. Не хочу в губы!

— Здравствуйте!

Две минуты взаимной нежности в кухне между остывающим чаем и тарепками из-под еды, на которые горячо струится вода в раковине.

— В хоподипьнике пусто, учти! Что завтра на обед ребятам?

— Да я в магазин бегу, успокойся.

— Ленька! Вот это чеповек! Сама цепую. Вот зто да.

— Правда, мужчина?

— Вот зто мужчина!

Семья мирно-поспешно переодевается, кровати застипаются.

Восемь часов тридцать восемь минут.

— Фу, опять впритык. Ну, жизнь! Может, вместе выйдем? Лень? Хоть до метро?

— Три минуты семьи? Гпядеть не могу на эти штучки. Что там твои попимерщики думают? Влепипи бы выговор, понизипи до мпадшего инженера.

— Понизят, понизят. Ты попроси — они понизят. Меня вообще из милости держат. Пока ты — вепикий артист, и Арсеньев ходит к тебе на спектакпи... Я готова! Не тяни. И банку достань — дпя сметаны. Тетя Лиза борщ обещапа...

— Я не обещала — зто ты мне первый раз говоришь! С добрым утром!

На пороге третьей комнаты — упыбка тети Лизы-Джоконды, семьдесят пятый год жизни и готовность поговорить, наконец, с племянницей и зятем. Не тут-то было. Молодые хором грохнупи: «Доброе утро, теть Лиз!»,— и с вешалки спетеп воздушный шар, возмущенный стуком двери. Тетя Лиза, не расставаясь с улыбкой, заявипа: «Девочка готовипа шарик дпя садика, девочке вепепи принести, она его готовила, и никто, ни-кто девочке не напомнип! Безобразие». Поспе такого монолога шарик перешеп в бопьшую комнату, где занял вчерашнее место между медвежонком без папы и жирафом без уха. Упыбающаяся старушка обошпа комнаты, что-то поправипа, открыпа форточки... «Никогда не успевают, нельзя на попчаса раньше встать, вечно спешка, безобразие, пойду кофе пить»,— и подошла к тепефону, ибо он зазвонип.

— Спушаю! Доброе утро... Нет, он только что ушеп... Думаю, да, в одиннадцать в театре репетиция... Не думаю... Лучше перезвоните через час...

Хорошо. Я всегда передаю, когда называют имена. Гулякин? Ах, Гурари! Передам. Всего хорошего.

Восемь часов сорок пять минут. Расставание у порога метрополитена. До этой минуты от дверей дома шел диспут о летнем отдыхе.

— Ладно, с тобой бесполезно, ты упрешься — и ничего! Мама берет обеих на Украину, а твой лагерь противопоказан Ленке: она медлительна, ранима, ее в два счета обидят и затрут такие вот Тони Валяевы! Я бегу, я опоздаю. Не забудь сметану. Тетя Лиза борщ обещала. Напомни ей, кстати, про борщ.

— Целую, подруга. Завтра поговорим. Совсем забалуете девку. Да, что-то она сегодня про Тоню Валяеву...

Мать резко задержалась.

— Что? Опять с Олей? Ну что?

— А, говорит, они поссорились с Олей.

— Дай-то бог. Ой, пропала!

И наскоро чмокнувшись, они расстались. Милиционер на перекрестке проспекта Мира и Безбожного переулка громко засвистел. Дружно рванулся поток машин: одни к Выставке, а другие к центру. Леонид быстро шагал к «Гастроному». Часы у аптеки на той стороне показали без десяти девять. Тамара схлопочет выговор, это точно. Перейдя трамвайный путь, он машинально задержался глазами на чьих-то изумленных лицах, отвел взгляд и вбежал в магазин. Все-таки успел услышать голоса вдогонку: «Козаков!.. Нет, Павликовский!.. Да Козаков, тебе говорят!» После кинофильма «Госпожа Бовари» его стали узнавать на улицах и в метро.

Секретарь директора магазина:

— Вы к кому?

— Евгений Несторович у себя?

— У него бухгалтер.

— Да я на минуту.

Вошел в кабинет, где под японским календарем раскачивался в кресле сам зав. пищеблагами с орденской колодкой на груди. Директор любил с семьей выходить в свет, в театры, на стадионы, в цирк, он радушно опекал артистов, певиц и футбольного ветерана Соколова из дома номер сорок.

— Привет, дорогой. Подожди минутку.

Бухгалтер неодобрительно глянул на Леонида, бегло пробурчал насчет чьей-то штатной единицы и, подобрав штук сто бумаг со стола, вышел. Директор протянул актеру огромную пятерню.

— Давай садись, Леонид Алексеевич. Играешь сегодня? Что даете?

— «Ревизора» даем, Евгений Несторович. Вам, кажись, понравилось?

— Да-да, лихой спектакль, молодец Гоголь. И ты там в порядке. Слушай, Тополев на пенсию не уходит?

— Вряд ли, у нас прямо на сцене принято умирать. Я запарился тут, опаздываю, как всегда, Евгений Несто...

— Зря, молодых много, подпирают, что за подарок этот Тополев? Ни черта не слышно, тоже мне Грибов. Он, по-моему, под Грибова работает. Ошибаюсь?

— Да вряд ли, он больше под себя. Нет, в «Битве в пути» он отлично играл. Не помните? — Леонид нервно глянул на часы, электрические часы под самым потолком кабинета.—...Профессия не сахар. Одни славят, на руках носят; кажется, доказано: Тополев — талант. А другие вот...

— Где там талант? Он у него во рту застревает, между вставными челюстями! Тоже скажет: талант! Вот Золотухин — талант, Табаков — это я понимаю. Или артист Павликовский Леонид — в полном порядке.

— Ну, уж ладно.

Теперь не остановишь. Да и то: грешно прерывать, когда тебя хвалят, да еще директор магазина, да еще в прошлом — летчик-истребитель. Мужик и вправду любопытный, с прошлым. А время потерпит, не в очереди стоять.

— О тебе же, Леонид Алексеич, чего «ладно, ладно»? В «Вечерней Москве» ясно сказали: артист многообещающий, как там, вселяющий, с чувством вкуса, а? Это за «Ревизора» твоего или... подзабыл?

— Насчет «В поисках радости» Розова.

— Отлично сыграл. Помню. А ты — Тополев, Тополев... Так... Чего надо-то? Как в прошлый раз? Говори, дорогой.

— Да, как в прошлый раз...—Он слегка покраснел.— А апельсины есть? Два кило можно?..

На часах — девять ноль-ноль. Леонид Павликовский, драматический, между прочим, артист, прожил ровно два часа из своих рабочих суток.

Пока заказ подбирался, отец семейства в отделе самообслуживания быстро отяжелил сумку молоком, кефиром и т. д. Порядок. Вернулся в кабинет (пришлось протиснуться сквозь шумную очередь за тортом «Сказка») и получил свои свертки. Оплатил, поблагодарил и, довольный, что директор опять висит на телефоне, раскланялся. А директор было помахал ему огромной пятерней, но вдруг прихлопнул ею трубку и — сочным голосом интимно:

— Леонид Алексеич, там на «Ричарда» нельзя парочку билетов?.. Да когда угодно — хоть в апреле. Есть?

— Запишу, хорошо. Закажу и позвоню.

— Ага, прямо домой позвони. Мне другу надо, он вседержитель санаториев Кавказа — хороший малый, тоже из авиации, с войны знакомы. Ну, привет. Жене кланяйся.

— Ладно. А вы — своей. Всего доброго.

Теперь домой. Время есть. Товары есть.

— Ленька, людей не видишь! Здорово!

— О, привет, Гоша, как дела? Ты чего загорелый такой? Чертям котлеты жарил?

— Ошибка, брат. На Кубе был — год целый.

— Батюшки, мы ж только что у Светки виделись!

— Здрасти-мордасти! У Светки — в феврале того года, а нынче — погляди в окно! Как творишь, знаменитость? Читал о тебе, кины вижу, хоть бы позвал в театр!

— А на Кубе-то что ты так долго, Гошенька?

— А на Кубе, Ленечка, я опытом русской кулинарии делился и повышал, однако, свою квалификацию. Бегу, счастливо! Про театр ты вроде бы и не слыхал...

— Сделаю, сделаю, позвони!

— Пока! Позвоню : ИАК-ИАК!

Это такой номер телефона: И 1-98-19, а по буквам выходит ИАК-ИАК. Так и в классе, а потом и в институте номер Лени произносился, иногда для простоты доведенный до «ИШАК-ИШАК».

Угловой милиционер свистнул, Леонид рванулся к тротуару.

Москва гудела от строек, автодвижения и бесперебойных диалогов на улицах. Перейдя Безбожный переулок, отец семейства вздохнул о прошлом, миновав собственную школу, и продолжил свои мысли о будущем. «Ричард» для вседержителя — это раз. Ленке оставить записку посмешнее — два. Тете Лизе — насчет борща и «Мосфильма»—три. Успеть бы прочесть сегодняшнее для радио — четыре. Черт, сметану же забыл купить. Ладно. Тетка сходит. За хлебом — тоже она. Что еще? Маме звякнуть — обязательно. У Галки двадцать восьмого день рождения. Если не пришлют перевод с телевидения,

денег до получки еле-еле. А подарок? Ладно. У тетки одолжу. Репетиция «Тары-бары»— не готов. Вчера в два часа лег — где было готовиться? Ничего. Надо бы попробовать этого врача-лейтенанта шепелявым сделать, как Гошка Перов. Текст, только текст держит. И Леонид слова из роли — те, что помнил,— тут же переложил на новую характерность — под Гошку.

На бывшей Второй Мещанской прохожие видели, как человек высокого роста, метр восемьдесят шесть, чернявый, курносый, на кого-то похожий—а, понятно, актер,— бормочет слова вслух, аккуратно волоча хозяйскую сумку со свертками и небрежно авоську с молоком, кефиром и прочим. Бормочет: «Ради бога, не учите меня жить. Вы ранены — ваше дело лежать и не рыпаться...» Ну, на шепелявость хорошо ложится. Только не надо юморить, доктор этот — серьезный парень плюс влюблен. Любовь, правда, выписана жутко. Банальщина, из пьесы в пьесу. Чего бы там придумать? Режиссер еще тоже подарок. Дипломник Губин. Если, как вчера, начнет лекциями кормить о Станиславском и Гордоне Крэге — взовьюсь, плюну и нахамлю. Опять Тополев за спиной начнет змеюшничать: «Леонида-Ксеича не трожьте, Леонид-Ксеич — знаменитый, сразу за Качаловым и перед Москвиным. Играть, правда, не умеет, слова подвирает и зажат, как шкаф, но вы «Госпожу Бовариху» видали? Не трожьте нашего Ксеича. Он не сегодня-завтра...» Или Тонечка Калинецкая, бывшая подруга, в дамском гадюшнике — гримерной: «Павликовский только с виду добряк! Этот добренький, девочки,— погодите год-другой — такого отмочит! Он через трупы пойдет! Вы меня еще вспомните: точнец, полный точнец!»

Нет, решил Леонид, взбираясь по каменным лестницам дома номер тридцать девять к квартире, где он родился и прожил двадцать восемь лет,— нет! Не будет он скандалить с Губиным. Актер должен репетировать и играть. Плох ли, хорош спектакль — другой профессии нету. Да и не надо. Все-таки Хлестакова он играет, в Розове — главная роль, в «Океане» тоже. Радио есть, теле, кино да семья... Пошел он к черту, этот Губин, мальчишка! И пущай захватит Тонечку и Тополева с собою.

— Леня, тебе тут три звоночка было, я записала.

— Спасибо, теть Лиз. Разберите, пожалуйста, дары-пищеблаги. Вы борщ будете делать? Я сметану забыл.

— А, ну ничего. Я же все равно за хлебом пойду. С «Мосфильма» звонили, кто— не знаю. Теперь так. Какой-то Гарабин или Гаркави — что-то о билетах — и мама.

Руки вымыть. Побриться. На диване, придвинув телефон, устроиться с листками стихов для радио. Прочел один стих, отметил карандашом ударения, знаком «f» и «р» — где тише, где громче, где живее, а где паузы — и, довольный тем, что стих хорош, набрал первый номер, за ним другой. На «Мосфильм» ехать отказался: сценарий не нравится, уж извините. Нет, я не с налету, не вам же играть, а мне. Вот я и говорю: не подходит, спасибо. Да, и режиссеру скажите. Все.

Гурари, брату жены Тамариного сослуживца, билеты обещал. Да, и этому, вседержителю кавказских курортов... Книжечка на март вся мелко исписана. Возле чисел и названий спектаклей — фамилии людей, которым обещано или заказано. Заказывать надо у главрежа или у главного администратора, в крайнем случае у директора. Это целая наука. Так просто они не запишут, не отдадут добровольно драгоценную бронь на билеты. Надо улучать моменты, втягивать начальника в озабоченность по поводу несовершенства дел в театре. И на гребне беседы лишенного бдительности коллегу оглушить легким броском, нетревожной интонацией: «Матвей Борисыч, будь добр, на «Океан» запиши два билета. Двадцатое число, фамилия Орлов. Димка Орлов, гениальный управдом, все от него зависит, вся моя жизнь, ибо — покой. Записал? Спасибо. Орлов? Спасибо».

И срочно оставить использованного начальника! Ни в коем случае не продолжать беседы (перенесем на следующий раз!). А Димка Орлов вовсе не управдом, а закадычный друг, с которым они на границе школы и вуза, летней дачною порою сочинили не просто тетрадь стихов, а целое направление в поэзии — «вуализм». Вот образчик этого выдающегося содружества:

В изгибе зги
Резки, низки,
Сгибались сгорбленные скифы.
И в строгой стройности, с реки
На них стремились
страшно
грифы.

Конечно, не сильнее вот этого стиха для радио, но все же... тоже хорошо. Леонид с удовольствием, но не без взгляда на часы проработал знаменитые строки А. Межирова о синявинских болотах, о блокаде, о Ладоге и Неве. Ленке записка готова: «Слушай, дочь. Пока не ночь — лень прочь! Сготовь урок, поешь чуток и — наутек. Гуляй, Ленок. Целую дочку в щечку. Папочка-папочка». Да, не шедевр. Но ребенка, во-первых, порадует и, во-вторых, в легкой форме мобилизует на распорядок дня.

Вот, книжечка театра исписана насквозь. А ведь еще врачам обещано. Одной — из детсада, Аллочка даже записку приносила и сама два раза напоминала: «Папа, ты на Арбузова Анне Осиповне сделал свои билетики?» И зубной врачихе, хорошей тетке. Придется нынче поунижаться перед... кто там в прошлый раз помог... да, значит, к главрежу обратимся: народный артист, ему народу бы и помогать. Так, Гурари записан, подчеркнут даже. Он не только брат жены седьмого киселя, он жене Тамаре бесценную шубу обещал. А это — великое дело, и за ценой Леонид не постоит. Ведь скоро придет перевод. Вот.

Время — девять часов пятьдесят минут. Звонок.

— Лёнечка, это Дина Андреевна!

— Батюшки, чему это я обязан! Как вы себя чувствуете, как дела в училище?

— Значит, по порядку. Во-первых, я скрывать не стану, звоню с просьбой. Я-то сама видела, но мои ближайшие — слышите, Ленечка, ближайшие друзья — они не наши, не актеры, они технократы,— умоляют на «Океан». Ну, что я могу сделать?

— Дина Андреевна! О чем вы говорите! Любимый педагог — и такие слова! Все! Я сам позвоню вам, когда закажу. Так как там в прославленном театвузе?

— Я не стану говорить, что и вы мой любимый ученик, хотя это близко к истине, но вас у нас много...

— А вы у нас одни!

— Во-от. Но о тех временах, когда учились вы, Володя Высоцкий, Ролан Быков,— словом, приходится пожалеть... Между прочим, вашему ректору на днях стукнет семьдесят, вы там приветствие сочиняете в театре, Ленечка?

— Я, Дина Андреевна, после его статей об искусстве актера и после целого ряда происшествий, вам известных...

— Ну, Леня, он же все-таки старик...

— Извините, стариков много и — разнообразного поведения. Я, как агитатор, знаком с одним стари-

ком... Небо и земля. А нашего меньше волнует судьба будущих поколений студентов, нежели приобретение квартиры, званий... Скучно, Дина Андреевна!

Звонок.

— Леонид Алексеевич, это Таня с «Экрана». Значит, машина у театра в пятнадцать ноль-ноль?

— Таночка, закажите на четырнадцать тридцать, и не у театра, а у ДЗЗ. Есть?

ДЗЗ — это радио. Дом звукозаписи.

Из кухни в репродукторе прозвучали сигналы «точного времени». Проверил часы Леонид и вздохнул. Пора собираться в театр. Дочитал стихи для радио.

Десять часов пять минут. Прожит третий час обычного рабочего дня Л. Павликовского, работника московского театра, драматического, между прочим.

Есть такое место в доме, в туго набитой квартире московских трудящихся Павликовских — бывший детский ящик. Письменный стол отца отошел к Ленке. Аллочка оккупировала мамину тумбочку. Разрастается хозяйство кукол и книжек, лоскутков, флаконов и линялого старья. И в папиной комнатушке, узенькой, с выходом на балкон и дальше к грохочущему строительству, в левом углу под ореховой полкой — бывший детский ящик. Куклы и тряпки год назад переселились, и на их место плотно улеглись тетрадки Леонида. Вот, может быть, и надо было нам не выслеживать минуты и бытовщину актера, а дождаться ухода в театр, сесть над ящиком и перелистать руками тети Лизы — сколько там...— пять или восемь тетрадок. Даже не для собственного эстетического возвышения, а для познания человека. Это ведь не сцена (которая уже профессия) и не дети (которые уже плоть и суть), а то единственное, зыбкое, глубоко частное... мечта — она и есть мечта. Человек мирный, неровный, быстроходкий и все успевающий, везучий даже на признание и успех, обойденный увечьями и ужасами — словом, человек, как большинство, Леонид имел одно расхождение с другими. Он обладал бывшим детским ящиком, который еще раньше был посылкой издалека, а содержимое тетрадок — совсем давнишние рассказы, пьески, начала повестей и прочего... То есть разнообразные траты душевного резерва, на которые чем дальше, тем времени все меньше...

Хозяин погладил верхнюю тетрадь, вздохнул и потянулся к зазвонившему телефону.

— Леня? Убегаешь?

— Да, Тома, убегаю.

— Как там дела?

— Нормалек. Сметану забыл.

— Всегда забываешь! А Ленка без сметаны борщ не ест!

— Еще что скажешь?

— Ах, ты так заговорил?

— Да, так! Пошли вы с вашими прихотями, со всей суетой — в... сметану!

— Смеюсь и падаю! Это все, что можешь сегодня мне сказать?

Она явно нажимала на слово «сегодня», что прошло мимо его ушей. Дело в том, что, придя на работу, Тамара увидела спрятанный там в столе подарок мужу и вспомнила: сегодня четырнадцатое марта. Восемь лет их совместной... и сразу — звонить: занято. Звонить — занято. И вот, дозвонилась, намекнула и нарвалась на «ласку» супруга. Для всех всегда гладкий, добренький...

— Слушаи, у тебя дело есть? Нету? Чего звонить без толку? Я и так ни черта с вами не успею в жизни...

— Ах, с нами, ах...—повесила трубку.

Десять пятнадцать. Господи, опоздаю. Машинально пролистав верхнюю тетрадь, всунул ее в ящик, прихлопнул его и вышел в прихожую.

— Теть Лиз! Пока!

— Ты уходишь? Когда будешь?

— До двенадцати ночи, жуткий день!

— Ну, как всегда... А что говорить, если...

— Если Димка — завтра, как договорились. Если с «Мосфильма» — звоните в театр, если из редакции — тоже завтра, все! Целую крепко...

Дверь хлопнула. Черт, маме забыл позвонить. Бегом вперед. Выше голову, артист, выше, выше! И — марш под землю, в сказочный метродворец! Все шумнее Москва, все выше солнце над землей, и все дальше едет Леонид в день, в заботы, с каждым шагом уходя от дома, от левого дальнего угла, где снова нетронутыми остались белые страницы... Может, никому, кроме него одного, они так-таки и не посвятят, но все-таки, знаете... Эйнштейн, говорят, так хорошо на скрипке играл...

...Роняет лес багряный свой убор.
Сребрит мороз увянувшее поле...

Десять часов тридцать минут. Подземный ослепительный дворец. Деловой муравейник москвичей и приезжающих. Леонид сидит на боковой скамье. Сам выбрал скамью: меньше шансов потерять место, уступая пожилым кандидатам. «Роняет лес багряный свой убор...» В томик Пушкина вложена брошюрка роли. Но врачу-лейтенанту придется подождать. Артист, вооруженный карандашом, совершает прогулку по пушкинским стихам. Дальний прицел: подготовка программы для чтения на эстраде. Чтецов развелось множество. И большинство вызывают если не раздражение, то сомнение или тоску. Кроме разве что Сергея Юрского. Это личность, это предмет уважительной зависти. Леонид снимался с Юрским в фильме по Фенимору Куперу, они почти подружились. Вот человек — ничего не делает бросово, тысячи забот — и каждый час проживается со смыслом. В театре — из лучших, в кино — редчайший, а читает Бернса или Зощенко — не оторвешься. Ибо личность. Ибо работяга. «Друзья мои, прекрасен наш союз! Он, как душа, неразделим и вечен...» Эх, Пушкин, убийственный Пушкин. Карандаш в руке не скучает. Черновые пометки. Стих за стихом. После разберемся. Отберем по темам, по звучанию, разложим, расположим. Авось, родится программа. Главное — сам бог велит читать. С детства, от отца влюбленность в музыку поэзии. Дома такие иногда вечера-ночи, с Тамаркой, под детское сопенье из спальни — такие счастливые часы проливаются строфами Тютчева, Самойлова, Баратынского, Окуджавы, Ахматовой, Маяковского, Пушкина! «Служенье муз не терпит суеты; прекрасное должно быть величаво: но юность нам советует лукаво, и шумные нас радуют мечты...» Леонид вздохнул и уступил место тучной старушке. Она вошла на остановке, неопределенно замерла между правой скамьей (где парень с девушкой) и левой скамьей (он с Пушкиным). Уступив место, покраснел. Так всегда, с самого детства. Сделает хорошее и покраснеет. От предчувствия похвал. Ну, так и есть...

— Спасибо, молодой человек! Вот вежливый. Родители интеллигенты. Воспитали в мальчике вежливость.

— Не скажите! Иной три университета кончит, а сядет раньше инвалида — милиция не сгонит.— Ответ старичка с палочкой.

Покинутая скамейка разговорилась на вкусную тему. Хоть бы потише хвалили — щеки горят. Артист

не артист, а публичных осмотров не выносил Павликовский. Да не шумите вы так, старички.

— Иной сам сядет, девицу усадит, мало ему — и портфель рядом установит. Стой тут над ним! И ноги тебя еле держат, а он хоть бы хны.

Скорей бы остановка. Весь на виду, герой вагона. Десять часов пятьдесят минут. Вышел. Смешался с толпой. Но, с другой стороны, хорошо поступил, правда. Все-таки в старшем поколении бодрость духа поддержал, веру в молодежь. Бегом на эскалатор. Кто еще тут — в лицо заглядывают. Ясно. Девицы-киноманки. За спиною шепот: «Госпожа Бовари», «Госпожа Бовари»... Ну, ничего. На жизнь жаловаться грех. Вот сейчас рольку разложим, рукава засучим, Гошкиной шепелявостью блеснем. Выше голову, артист. И — вверх по эскалатору. Вон еще группа любителей, почитателей, узнавателей. И чего рассматривать? В жизни-то он так себе; лучше, чем на сцене или на экране, ни за что не проявится. Чудаки любители. Но все же приятно.

Очередь у кассы театра возвещает о добрых морально-финансовых перспективах. За десять дней билеты раскупаются. Ничего, выйдут «Тары-бары»... Эх, до чего же тошно вылезать на сцену, когда в зале сияют некупленные кресла! Знали бы люди — из жалости бы аншлаги устраивали.

— Доброе утро, Клавочка!

— Доброе утро, Ленечка!

— Семен Михалыч, доброе утро!

— Доброе, Ленечка.

— Леониду Алексеичу — Виктор Тополев! Кланяюсь и поздравляю.

— Здравствуйте, Виктор Олегович. С чем именно изволите приветствовать?

— Поздравляю с тем, что вы почтили наш скромный храм...

— ...нескромным вашим присутствием! Леха, нечего с ветеранами трепаться, марш на репетицию!

Разбегаются из раздевалки актеры, на ходу причесываются, острят, обнимаются. Некоторые мрачно сторонятся иных сослуживцев. Из репродуктора доносится голос помощника режиссера Катерины Николаевны: «Доброе утро, дорогие товарищи. Не забудьте расписаться в табеле, искать никого не буду. Даю звонок на репетицию «Тары-бары». Просьба пройти в большой зал. Репетиция «Воскресения» начнется через полчаса, задерживается Юрий Сергеич».

— Где это он, любопытно, задерживается, неподражаемый наш шеф? — рокочет Тополев Виктор Олегович. Он-то явился, как и тридцать лет назад, ровно и четко, за десять минут до срока. И тут уж, извините, все повинны, весь свет, если ему, ветерану, снова приходится ждать...— Что это за такие задержки, кто смеет руководителя прославленного театрального коллектива...

«Юрий Сергеич просил начинать без него. Кого интересует, где режиссер,— он обещал объяснить лично. В министерстве он, вот где».

Звонок — длинный, привычно резкий — совпал с курантами входных часов у гардеробщика Николая. Это означало старт рабочего дня. Кроме того, звонок поздравил Леонида Алексеевича с началом пятого трудового часа — теперь уже в стенах театра (драматического). «Служенье муз не терпит суеты...» В большом зале мирно перездоровались двадцать два вызванных актера и один режиссер, молодой Губин. Петя Губин, любимец Завадского по ГИТИСу, подающий надежды режиссер. Сегодня, на его шестой репетиции, у подавляющего большинства актеров одно и то же желание, а именно: чтобы Петя Губин в дальнейшем подавал свои надежды в другом театре, на других актерах...

— Ну, начнем. Приступили. Анечка, Леонид Алексеич, Андрей Иваныч, давайте вчерашнюю сцену.

Другой бы на том и осекся. Вышли бы артисты и стали пробовать, играть, привыкать к обстоятельствам, к ролям. Поискали бы с режиссером чего-нибудь любопытного. «Нетушки, папочка,— как сказала бы Ленка Павликовская,— так не пойдет, так не игра». Кстати, надо бы перед радио домой позвонить. Забудет тетя Лиза, что для Лены со вчера котлеты оставлены в холодильнике.

— Прежде, чем вы начнете, я вот что. Помните как Сулержицкий Качалову: «Незаметно замечать»,— а? Ань, а? Андрей, где-то понял? Лень, а? Незаметно замечать! Пусть текст идет, а вы друг друга щупайте — где-то вот до этого места: «Да знаю, знаю, милый мой! Не первый раз в лазарете!» Лень, а? Ань, а? Андрей? Это ведь где-то то, да?

— Простите, Петя. Давайте попробуем. Там видно будет.

— Или как Гордон Крэг, когда артисты заскучали: «А вы спиной не пробовали партнера увидеть?» Потрясающий мужик! Спиной! Как нам Антонина Германовна рассказывала: они с Мансуровой в гражданскую войну жили вместе. И кошка у них была. Я имени ее не помню. Скажем, Мурка...

— А я помню,— рявкнул Леонид и хмуро упрекнул дипломанта Губина: — Нельзя забывать кошек больших артистов. Степанида звали животную. Степа-нида. Этот случай описан в журнале...

— Лень, а? Отличный пример, ну? Они у кошки своей учились общению! Как она мышей ловила. Кошка и мышь — стоп! Обе затихли. Эта не двигается, и эта, в лапах у этой, не двигается. Обе не двигаются. Эта ждет: если эта двинется, рраз! И на Кавказ! Черта с два! Кошка вдруг вялая, томная, будто эта ей не нужна, а? Спиной размякла, а лапы держат эту! Элемент кино где-то, а, Андрей? Ань, а? Мышку нервы где-то отпускают, она проверяет глазом: безопасность вроде бы, да?

— А Степанида...— продвигается Леня.

Все улыбаются. Губин значительно поднимает указательный палец.

— Лень, а? Кошка совсем разобщилась, отконтачилась от мышки. Тогда эта делает рывок, а эта в одну десятитысячную долю секунды — карамба! Бац! Чем она общалась? А?! Лень, а?

— Давайте репетировать! — Леня показал на часы.

— Да, поехали. Анекдот слыхали?..

— Подожди, Петя. Ты уже столько накидал. Давай теперь воплотим.— Вот даже Андрей заскучал, самый сонный. Он живет в актерском общежитии, но очень любит поспать. И в этом трагическое противоречие. Впрочем, его надежды всегда на дневные три часа до спектакля.— Давай воплотим, и по домам, ладно?

Все-таки с места сдвинулись. Один лег на диванчик и, поглядывая в текст роли, сморщился от воображаемой боли в плече. Аня «вошла» якобы в палату и, держа осторожно свои листки, как поднос с инструментами, обернулась на Леонида. Тот склонился над «больным» и, переводя глаза с партнера на текст, зашепелявил по-Гошкиному:

— Ради бога, не учите меня жить. Вы ранены. Ваше дело — лежать и не рыпаться. Кто из нас кончил медицинский?..

— Минутку.— Губин подскочил к дивану. Подвижный, эрудированный, добродушный. Конечно, есть много актеров, которых хлебом не корми, ролью не тревожь — дай потрепаться на общие темы. Но Леонид, как зубную боль, переживал всякую неконкретную болтовню. «Время—деньги» — это совсем не пошлость. Особенно, когда двое детей, и

современные запросы, и летом хочется отдохнуть не тяп-ляп, а по-человечески...

— Минутку. Лень, это шутка? Или ты пробуешь?

— Я пробую. Можно дальше? — прошепелявил он на последних словах.

— Лень, а? Может, не будем? Серьезный врач, влюблен. Может, нутром возьмем? Зачем штукарить?

— А мне нравится.

— Чего ты, Петя? Это ничему не мешает. Пусть шепелявит!

Артисты поддержали. Началась дурацкая дискуссия. Губин для порядка поартачился, напомнил еще две цитаты из Михаила Чехова и Виктора Розова и отошел на запасные позиции.

— Так кто из нас кончил медицинский? То-то же.

— А-а!! — заорал Андрей.

— Правильно, больно. Очень хорошо.

Все захохотали. Кусочек сцены сегодня сложился. А благодаря характерности образ смягчился и стал принимать будущие очертания. Присутствующие оживленно следили. И только Губин не унимался. Он словно не за тем сюда пришел, чтобы сделать спектакль наилучшим образом, он словно с кем-то пари заключил тормозить и сеять скучищу.

— Минутку. Активность, Лень, где-то верная, но что-то мне в ней не нравится. А ты, Ань, сюда, здесь лучше. Так. Что я хотел сказать, Лень, а?

— Петя, поехали, время. У тебя три сцены вызваны — можно до конца дойти?

— Лень, а? Не гляди здесь на Андрея. Надо где-то дать понять: он другим занят. Не люблю я примитива, товарищи. Все мы в лоб умеем играть. Почему нас Жан Габен так удивляет? А? Лень, а? Ничего не делает в лоб. Или помните у Орленева в записках...

— Петь, помнишь письмо Мамонта к Дальскому: Дальский, говорит, кончай отвлекать артистов! Дай им свободно свое мастерство оттачивать! Петь, а? Где-то то, а?—грубовато передразнил Павликовский.

Пауза. Петя заморгал и надулся.

— Я вообще могу уйти. Репетируйте сами.

— Петь, да он шутит!

— Да бросьте вы, ребята! Петь, на юмор-то обижаться!

Петя сел, грустя, за режиссерский столик. Леня, мимикой изобразив, как ему надоела галиматья, продолжил сцену.

Дошли до конца. Пауза. Артисты виновато глядят на дипломанта. Дипломант—на пачку своих сигарет.

— Петь, дальше пойдем? Или повторять будем?

Леня, взглянув на часы, быстро оказался наедине с обиженным. Шепот. Рука на плече «подающего надежды»...

— Петя, кончай дуться. Ты хороший малый. Вот, кстати, тебе с женой билеты на премьеру в Доме кино. Ты просил — я достал. И там, в буфете, за коньяком, я тебе все объясню. Зачем артистов пугать? Ты талант, я талант, чего дуться?

— Лень, я не дуюсь. Ты пойми — я человек. Мне трудно всухомятку. Я должен понять, что вы работаете, и разбередить себя и вас.

— Об этом тоже поговорим. Это не бередение, а фантазия твоя. Поверь моему опыту. Ты хороший, умный малый, а я пошел, ладно?

— Ладно. Спасибо за билеты. Завтра попробуешь то, что я сказал насчет второго плана? У него больной, а второй план у него где-то она, любимая, а? Лень, а? Где-то то?

— Ну, разве что где-то, Петь. До завтра.

— Сцена в лазарете свободна! Прошу окопную! — неожиданно бодро вскричал еще более помолодевший Губин.

Леонид выскочил к главрежу. Нету его. Тогда к директору. Тот отчитывает слесарей, ибо вчера на спектакле лопнула труба и залило женский туалет. Скандал. До антракта не успели заштопать, ибо второй слесарь был пьян. Директор орал на старшего слесаря, вместо того, чтобы сразу выгнать виноватого. Леонид вошел в комнату месткома. Звонок.

— Алло, нет, не Борис Алексеич. Нет, не знаю. Да, Павликовский. Здравствуйте. А с кем имею честь?.. Хорошо, записал у него в календаре. Что? Да? Спасибо, служу Советскому Союзу. Ну и что ж, что роман французский. Актер-то советский. До свидания.

Быстро набрать номер мамы. Занято. Тогда Тамары.

— Слушаю!

— Нет, это я тебя слушаю.

— Отошел, психопат? Что скажешь?

— «Моя снежинка, моя пушинка, моя царевна — царевна грез... Моя хрустальная... — бархатным меццо-баритоном запел Леонид Тамаре.— Моя жемчужная...»

— Слава богу,— сразу растопилось в прохладной трубке.— Слава богу, догадался.

— «...к твоим ногам...»

— Спасибо, Лешик черноголовый...

— «...я жизнь свою принес!»

И повесил трубку, чтобы не снижать эффекта. На душе согревающе похорошело. С улицы донесся скрип многих тормозов. Леонид привстал, последил за улицей. Среди прохожих узрел Матвея Борисыча, главного администратора. Черт с ним, надо еще поунижаться. По внутреннему телефону — звонок в кассу: три-четыре.

— Наташа, чудо, любимая — жуть! Когда любит поэт...

— Лень, мой сын тебя вчера пятый раз ходил в кино просматривать. И чего он в тебе нашел?

— Натуля, детей надо уметь понять. Они гораздо, я бы сказал, сугубее нас. Они умнее и шире... Кстати, во имя сына и ради меня...

— Леня, билетов нету. Иди к директору. Вся бронь в Моссовет ушла. Сессия, Леня, сессия.

— Наталья Борисовна, вы мать и я мать. Тополев получил бронь? Отказать, он бездетный! А я, Ната,— отец и вы, Ната,— отец, а брат брата всегда поймет, так?

— Леня, у меня в кассе народ, мне не до шуток. Зайди после перерыва.

— Наточка, я зайду сейчас. И повешусь возле билетного сейфа.

— Через директора! Все, Лень!

— Через тебя, злодейка! Иду! — угрожающе закончил актер.

По городскому — домой. ИАК-ИАК.

— Вас слушают.

— Теть Лиз, как дела, родимая?

— Добрый день, вот список звоночков. Из редакции Зерчавкин Самсон — я ему сказала: завтра. С «Мосфильма» привезли сценарий с запиской. Прочитать?

— Не надо. Все ясно. Зерчавкин был сердит?

— Нет-нет. Даже сказал: «Ну, привет ему огромный».

— Значит, очень сердит. Позвоню. Дальше.

— Дальше мама.

— Черт, сейчас позвоню.

— Да уж маме надо звонить, дорогой мой. Посмотрим, как твои деточки с вашим воспитанием...

— Хорошо, теть Лиз. Ленке котлета в холодильнике. И огурец не забудьте!

— Не забуду

Звонок маме. Занято. Бегом к директору.

МАРТ
14

— Сергей Михалыч, на одну минутку.

Директор не внемлет, лежит всем телом на трубке телефона. Слушает. Леонид обводит глазами кабинет. Под потолком — раз, два... шесть, семь... тридцать одна афиша. Желтеют листы пятидесятых годов. А вон первая в жизни актера Павликовского. Пять лет назад, октябрь. Премьера «Иркутской истории» Алексея Арбузова. «Родик — Л. Павликовский». И дома такая же висит, в коридоре — вся исчерканная автографами поздравлений. «Леониду — счастливого плавания!», «Леонид Алексеевич — так держать», от самого главрежа. Тогда сиял и дрожал, глядя на его подпись. Теперь, через пять лет, пожалуй, тот больше дрожит: подведет его Павликовский, уедет ли сниматься, или не подведет... Смешная жизнь. «Искреннее пожелание Леониду Павликовскому — триумфа на подмостках. Виктор Тополев». «Целую, Леня — твоя Тоня». Следы от раннего романа с будущей змеей и сплетницей Калинецкой. Тамара из-за этой надписи чуть не разводиться бросилась, из-за такой смазливой дурочки. Эх, жены, ненадежно ваше чутье. Впрочем, и наше, должно быть. Эх, стало быть, мужья. Будемте взаимно бережливы и, обходя запретные темы и минуя подводные рифы, да не потешим мещанские уши кое-каких наседок-недобрососедок. Вот мы с Тамаркою вдвоем замечательно, чего скрывать, живем. Ну, не всегда. Но общезнаменательно — в общем, замечательно. В душу дружка к дружке не лезем. Если ей молчится — я жду. Сама все, что надо, откроет. Но главное — оба отходчивые, это раз. И очень, очень важно прожиты первые — от студенчества до детей — годы. Теперь столько капиталу, такая бездна воспоминаний — ты куда от них уйдешь? Плюс дети, ранние, трудно вошедшие в жизнь, через болезни, через жилнеурядицы... Слава богу, директор отложил трубку, навалился на стол всею своею заслуженной, орденоносной грудью.

— Сергей Михалыч, когда же вечер отдыха будем делать? Вам Александр Моисеич из Дома актера звонил, мне звонил. У вахтанговцев вечер был, у «Современника» был, а мы с вами, что — рыжие?

Директор расправил плечи. Надо еще бы посуровее. Разговор должен озадачить директора, иначе дело не выгорит. Но не торопить. «Служенье муз не терпит суеты...»

— Так что, Леонид Алексеевич, мой дорогой? Вот вы и решайте. Я дал «добро». Давайте список, распорядок вечера, кто за что отвечает...

— Это не ответ.

— Почему не ответ? Ответ.

— Нет, не ответ. Меня здесь мало. Как всегда — одни хлопочут, а другие на готовеньком.

— Вот завтра производственное совещание в три часа...

— Меня не будет. Съемка.

— Вот, вас не будет. А кто же тогда будет?

— Вы, Сергей Михалыч, вы должны призвать народ. Призвать к ответственности. Вечер завалить нельзя. Какой фильм заказывать, каких гостей приглашать — пускай не мы с вами, пускай народ решает. Чтоб не кисли потом, как иждивенцы: мол, что за вечер отдыха, у МХАТа было веселее! У нас должно быть веселее!

— Но вы с Куличовым беретесь капустник делать?

— Да мы-то, как юные пионеры, всегда готовы. Кулич и я, я да Кулич — вечные козлы отпущения.

Селектор: «Сергей Михалыч, строительное управление на проводе».

— А, приветствую, мои дорогие. Да уж, обижаете. Где же ваши сроки? Так дело не пойдет...

Все, горит Павликовский. Тоскливый взгляд за окно: пролетело три пустых такси. Да вешай же ты трубку, директор Михалыч.

— Договорились, Наталья Иванна. Записал. И на «Ревизора». Записал на двадцать третье. Всего наилучшего.

— Сергей Михалыч, пока не забыл. Мне на «Ревизора» два и на «Океан» два.

Он встал за спиной директора, сам ему пролистал книгу записей. Тот без звука вписал фамилию Леонида, хотел было продолжить беседу...

— Ну, и на «Поиски» для ровного счета два. На фамилию Орлов. Дима Орлов, гигант мысли, комендант дома, все от него, вся жизнь. Спасибо.

— Значит, вот что. Вы дайте список ваших предложений и кто за что отвечает, Леня. И завтра — никаких съемок. Слишком легко бегаете от собраний. Ваша же инициатива...

Селектор: «Сергей Михалыч, вас жена — будете говорить?»

— Сергей Михалыч, не смею мешать.

Леонид пулей выскочил из кабинета, унося в душе образ несколько растерянного руководителя.

У главного администратора.

— Матвей Борисыч, привет. Два слова. Горю. Фамилия—Дружинина. «Ричард» 30 марта. Можешь?

— Видишь ли, гений. Я-то все могу. Но на 30-е...

— Все, дружба врозь! Я страшен, Матвей, я страшен, когда мщу!

— Анекдот о двух самолетах рассказать?

— Расскажи! Вот тебе, сам листок раскрываю. Сам авторучку в ручку всовываю. Умоляю, ты лучший в мире и даже в нашем районе администратор — пиши фамилию: Дружинина. Детский врач.

— Ты анекдот будешь слушать?

— Слушаю, весь напрягся. Написал? Спасибо. Ой!!

— Что с тобой?

— Опоздал я. Извини, вечером не забудь, расскажи.

— Ну, комик, ну, циркач!

Что верно, то верно. Теперь для «вседержителя» и для Дины Андреевны.

В кассе, после поцелуев тощих пальцев...

— Нат, я веревочку принес.

— Какую вере...

— Вешаться. Где тебе удобнее на меня глядеть, на синего и холодеющего,— здесь, там, где?

— Всю душу вынут эти артисты. Плати три рубля и убирайся. «В поисках радости».

— Радость моя бесценная. Стой-стой, не убирай кипочку. Вот на этот спектакль для любимого педагога и великой артистки Дины Андреевны Нечаевой — ну, я на коленях. Не стыдно — зрители смотрят? Злодейка. На, три рубля еще. Целую крепко — ваша репка.

— Скажи лучше: репейник! Все! Уже сбежал. Всю душу вынут эти артисты... Вам что, товарищ? На фамилию Зубков? Нет такой фамилии. Ах, у Юрь Сергеича? Простите. Три рубля с вас. А я думала, нет такой фамилии.

ДЕНЬ

— Леонид Алексеевич!

Кто еще? Господи, царица экрана.

— Людмила Сергеевна, позвольте ручку.

— Экий вы церемонный, я к вам без экивоков. Можно? — Людмила является в театр редко, играет два с половиной спектакля, ведет общественную работу — с агитаторами — и мало кого уже интере-

сует... Но двадцать лет назад... Царица экрана. Леонид еще в школе и даже в институте никогда бы не позволил надеяться на такую близость. Чтобы она его окликнула, а он ЕЙ — ручку... Господи, и ведь хороша собой, и чуть ли не моложе самой себя в военных лентах... Эх, время. А муж попался козлище, бросил ее на глазах у всех и прихромал, старея, к юной героине. И героиня ровно через год разменяла его на пяток однолеток. Он мучается. А уж Людмила Сергеевна — о той и говорить нечего. Кабы не возраст, Леонид бы из одной верности мальчишеским восторгам женился бы. Все бы поломал, если бы не... Вот именно: если бы да кабы.

— Слушаю, без экивоков, но внимательно, Людмилочка Сергеевночка.

— Леонид Алексеевич, звонили избиратели из вашего списка, Дорохин и Дорохина. Вы у них были, но они просят. И ваш долг как агитатора от театра...

— Звонили? Это интересно.

— Вы бы зашли, не поленились, а? Конечно, такому известному артисту мне бы не следовало указывать...

— Людмила Сергеевна, ну что за дела? Меня знает район, и то на год, а вас — страна, и на века.

— Ну, вот и обменялись.—Она вздохнула и пропела: — «Расскажите вы ей, цветы мои...»

— Нет, не так: «Скажите, девушки, подружке вашей, что я не сплю ночей, о ней мечтаю...»

— Ладно, утешитель грустных вдов. Значит, без экивоков: зайдете?

— Зайду. Причем сию же минуту.

Леонид на прощание проводил глазами нестареющую фигурку кинозвезды. Выскочил из театра. На часах двенадцать десять. За углом переулок. И между белыми многоэтажками потерянно пригрелся древний деревянный домишко. На слом. Только одна семья не выехала — Дорохин и Дорохина. Обоим в сумме... сто шестьдесят два года. Посмотреть на дырявые окна первого этажа. Влезть на второй. Постучаться в лохматую обивку двери.

— Здравствуйте, Филипп Филиппыч. Здравствуйте, Анастасия Лукьяновна.

— Идите за стол. Сажай, старик, гостя.

— Нет-нет, я на минутку.

— Как? — Дед притворялся глухим, когда хотел.

— Я на минутку!

— Как? Не слышу я. Садитесь, товарищ артист. Иди, Настя, сготовь, что бог дал, а мы чуточку международную политику поскребем.

Леонид окунулся в старый диван и понял, что попался. Ходики тикали, но время для актера приостановилось. Сидеть было мягко. Дед — прямой и рослый, беззубый, но величавый, успокаивал уверенной повадкой. Как решил поговорить — так и сделает. А старуха повозится в кухне и принесет чай да булки, колбасу да корейку. Дорохин, улыбаясь, потер палец о короткие белые усы свои и прикрыл глаза.

— Значит, говорите, над всем, что было, человек должен смеяться?

— Нет, не так. Человечество весело расстается со своим прошлым. Это не я говорю, это сказал Карл Маркс.

— А, ну хорошо, с прошлым. Значит, говорите, должен смеяться? — Старик лукавил, но говорить решил явно на тревожную тему.—Вот вы и рассудите, можно ли тут смеяться.

— Филипп Филиппыч, я же это в другом смысле. Давайте про дом поговорим, когда вы думаете переезжать, волнуются в исполкоме.

— Как?

— Когда переезжаете?

— А, вот и рассудите — смеяться ли, переезжать ли. Курите, курите. Я и сам закурю.

Запах табачного дыма как будто уравновесил тягостную смесь запахов старья, каких-то духов, лекарств и квашеной капусты. Внезапно старик перегнулся и в самой неудобной позе, не снижая напора, не сводя с Леонида глаз, заговорил...

— А было мне поменьше вашего, ушел я, прямо сказать, в царскую армию сапожничать. Настасия Лукьянна вот тут на этом месте родила потом мне сына. Про него был уж мой вам сказ, ну да. Служили в Польше, прямо сказать. А дома тут стояли тесно, двор был — кавардачок. И придумали, еще при моем пацанстве, выдумку веселую —мастеровые вокруг жили, все знакомые. И стоял во-он примерно, где бачки с мусором, широкий столбик. А на нем смешные люди этого двора клеили бумаги с новостями. Кто-то умный порешил: чтобы не завелось чертей между людьми, всякую новость на столбу освещать. Какие ссоры, какие споры, свадьбы, болезни, кто помер — все, все освещать на том столбу. А я теперь в Польше. И перелюбил я мою Настю московскую на польскую дамочку с кудряшками. По имени была Мария... Человек я был неважный, об сыне не думал, но родителям надеялся приятность доставить... отписал крупными буквами новость для столба, запечатал в конверт — и в Москву с почтовым поездом: мол, знайте, земляки, я переженился здешним браком и — горите вы, Настасия с наследником, синим огнем, как говорится. Все! Ну, война пошла 14-го года. Родила мне Мария дочку. А жил я хорошо. Начальству сапоги мастерил, лучше казенных. И вторую послал новость, вот что, и третью. Обратно, от отца только раз депеша прибежала: мол, бумагу получили, но время смутное и мамаша твоя потом тяжко заболела... А мне — все ничего. Такой плевый человек, да. И с войной этой я так порешил: поезжай, Мария, в Москву, в дом к папаше моему, и дочку будет кому смотреть, сестриц у меня трое; Москва далеко, а здесь вы, мол, в опасности. Отправил, пошли дымные дела, дальше ранили меня, прямо сказать, до полусмерти. Отлазаретился, а тут шестнадцатый, семнадцатый, царя отменили, я по грамотности в совдепы взошел, ну не об том речь. Когда катавасию окопную прекратили, я в Москву вернулся. И доволен ехал в дороге! Ехал я в дом отцовский и дурацкой радостью радовался. Вот, мол, живой, вот, мол, домой, вот и супругу нерусскую мою и дочку обниму, искупаюсь в ихних, прямо сказать, кудряшках. А что с Настасией — да кто это такая Настасия? И знать не помнил... И вот что. В дороге — по Белоруссии, что ли, я ехал, встретил соседа Левку, тоже сапожника. Не то, что встретил, а минуток пять на разъезде схватились. Что ты, а что у тебя, знаете? И в конце-то свидания он мне: «Супруга твоя — хорошо, какие-то были слухи, потом читали от тебя новости, но супруга с сыном и дочкой— все хорошо». Я говорю: «С каким еще сыном?» — «Да с твоим!» — «А какая супруга?» — «Да Настя». «А Мария?» —«Какая, говорит, такая? А-а, что-то слыхали, солдатка польская, жена друга твоего на излечение приехала, померла у Насти на руках от тифа. А дочку ты велел усыновить». Тут мы и разъехались. Да не столько мы с ним, сколько в мозгах моих мысли разъехались, какая куда. Себя не помню, въехал я в Москву белокаменную...

Вошла героиня рассказа. Сняла со шкафа коробку с печеньем. Леонид улыбнулся ей, она тихо спросила:

— Значит, политику скребете? Что это гостя не слышно? Все ты, старичок, гудишь, слышу с кухни.

— Как?

— Вот так. А ведь не ты в агитаторах, ведь он же в агитаторах.

— Ничего, Анастасия Лукьяновна, у нас по соглашению.— Леонид глянул на ходики и усмехнулся. Время шло, а он сидел.

Ушла. Дед откинулся на спинку стула.

— ...Так въехал я, говорю, в Москву белокаменную... Я-то себя совсем врагом полагал для Насти да для дома. А она, вот эта ныне пожилая старушка — знаете, эх! Дом — чистое золотое. Семья у ней вся—как у дирижера. Мамашу мою схоронили. Отец за Настей, как за исполкомом. Полюбил, другого бога нет, только она. Дети— брат и сестра — ухоженные, как, прямо сказать, цветочки. А вот спросил я: как это на меня народ двора нашего глаза-то подымает? И как же они мои новости позабыть смогли? Ну, и вызнал я через отца своего... Настя моя — это гений, прямо сказать, народного терпения. Словом, получали они «новости» мои с Польши, а на столб свои вешали! Ну, мой почерк, не отличишь! Нашла Настя писца какого-то в Москве, сдала ему мой почерк, тайно продала барахлишко свое, заплатила писцу, и вот вам, коммуна, глазейте, чего мой верный, прямо сказать, супруг со фронтов пишет. А пишу я, оказывается, что люблю мою Настю крепко, помню верно, по сыну скучаю, родителей обнимаю и двор не забываю. Ну, а как прочел про Марию—какая она жена моему другу да про усыновление — тут мне болезнь пришла. Видать, надорвался— все тут и сказалось. Месяц я у Насти в руках доходил. И бога молил — помереть, не пережить больше ни мамы, ни Марии. Но вот ведь, поднялся. И вы уж простите, товарищ артист, по-вашему, по-новому — смеяться бы надо, ну да. А я слезами умылся и начисто в мою, которая на кухне хозяится, прямо сказать, влюбился. И вот уж другой век почти на горизонте, а я ей за жизнь ни разу ни в чем слово «нет» не сказал. Вот и все вам.

— А как же насчет дома?

— Как?

— Насчет дома?

— Ну да, вот она и говорит: здесь мне была судьба, здесь мне была тюрьма, здесь и радость, здесь и помру.

— Филипп Филиппыч, как же быть?.. В исполкоме волнуются...

Дед опять склонился к самому лицу Леонида и, по-молодому мигнув ему, вдруг мелко-мелко зашептал:

— Ты молчи, сынок, я уж без тебя агитацию сделал. Все как бы складывается, что будто она сама решила. Я-то ведь и вправду агитатор.

Тут вошла старушка, с нею вошел аромат пирога, запах чая. Они попили, закусили, поскребли международную политику, Леонид глянул на ходики и охнул.

— Что, хороши ходики?

— Филипп Филиппыч, я опоздал, мне на радио, извините, я уж в другой раз...

— Ну-ну...— Старик был мягок, он весь состоял из высших сортов благородства и человеколюбия. Так и простились. И Леонид, несколько задумчивый для данного времени дня, выскочил на улицу.

Опоздал? Нет! Стой, такси. Не гони лошадей. Повезло, и Леонид Павликовский летит на радио. Сидя в машине, вынул текст стихов, пробежался по карандашным отметкам, достал удостоверение.

Бюро пропусков. Тетенька, торопитесь. И бегом на третий этаж. Пальто в руке, в гардероб поздно.

— Леонид, зайдите к нам в отдел...

— У меня запись, Ниночка!

— После записи зайдите. Потолковать надо. Есть такое желание, чтобы вы вели цикл передач «Я вам пишу...»

Прекрасно, прекрасно.

Опоздал? Нет, еще Квашу записывают. Слышно из коридора — такой царственный голос интеллектуального чемпиона театральной Москвы.

Молодец, Игорь. Только бы скорее выходил. Опаздывает твой коллега, менее интеллектуальный, менее голосистый, но не менее занятой. Поздороваться на пульте с режиссером. Сквозь стекло поклониться Игорю. Пожать локоток симпатичной Верочке, звукооператорше. И показать жалобно на часы.

— Опять летите, Леонид?

— Марина Александровна, сгораю.

— О чем вас просит этот горе-боварист? — пробасил из студии Игорь.

Леня показал ему сквозь стекло могучий кулак. Нажал кнопку связи со студией.

— Некоторые могли бы и помолчать и не задерживать режиссера.

— Боварист, не заслоняй от меня Верочку!

— Лично я бы серьезнее относился к жизни после исполнения роли Карла Маркса.

— Все, товарищи,— весело рассудила режиссер.— Вы сами себя режете, болтунишки. Игорь, вы свободны.

Тринадцать часов двадцать пять минут. Солнце в зените. Москва обогрета мартовским солнцем. На радио в студиях окон нет. Но сквозь толщи надежных стен прорывается и обнимает всех, кто выдает в эфир и трудится для эфира, солнечный весенний дух, веселый, обнадеживающий и легкий, как эфир.

Тринадцать часов пятьдесят пять минут. Подходит к финалу седьмой час трудового дня Леонида Алексеевича Павликовского, отца и сына, общественника и сочинителя, мужа и актера (драматического). А служенье муз в то же самое время не терпит суеты. И Прекрасное, с точки зрения Пушкина, должно быть величаво.

Отметив пропуск на четвертом этаже, про себя ругнув еще раз казенщину с печатями и пропусками, артист зашел в отдел классики. И через пятнадцать минут вышел, нацеловавшись редакторских ручек и пошутив уходя с дверною ручкой, комически склонившись к ней якобы для поцелуя. Все смеются, все довольны — это он слышит уже из-за двери. Спускается вниз в столовую радиокомитета. Кошмар. Очередь. Слава богу, Толя Хмельницкий, молодой актер, почтительно уступает место впереди себя. Как это ни печально, приходится воспользоваться, ибо у Дорохиных не успел, а голод не тетка. И стоящая позади суровая тетя не изменит его решения пообедать вне очереди. Ибо тетя на работе, а артист на бегу. Если он не поест сейчас, уповать останется на служебный буфет в театре через пять часов. Ясно? Леонид в душе довел спор с тетей до победы. Жаль, она не слыхала. За десять минут еды успел восемь раз тряхнуть головой в ответ на «добрый день». Три года назад летел он из Самарканда. Пять часов лету — и ни одного знакомого... Стал Леонид во имя засыпания от нечего делать пересчитывать: скольких людей всякого рода он может назвать знакомыми или приятелями. Не

заснул, увлекся. Когда сосчитал, развеселился: примерно полторы тысячи вышло народу. Из них на Москву только на область искусства (актеры, музыканты, литераторы, работники радио и т. д.) пришлось примерно шестьсот человек. Это три года назад. Теперь вышли еще два фильма, масса концертов, телевизионные спектакли, вечера в Доме актера, радио, театры... А что будет через десять лет? Страшно подумать. Нет, а что было шестьдесят лет назад у деда Лени? Скольких бы насчитал артист императорских театров?

Машина у подъезда на улице Качалова — ровно в четырнадцать тридцать. Леонид всякий раз восхищался точностью окружающих. Когда сам в срок и другие в срок — радовался детской радостью. Словно бы подарку.

Машина шла по проспекту Мира мимо дома. Мелькнули родные окна. Ленкина голова склонилась над тетрадкой. Тетя Лиза, видимо, на кухне. Промчались мимо Безбожного, слева—аптека (время четырнадцать сорок), справа — «Гастроном» (позвонить директору, что билеты в порядке). Первая Мещанская — место встреч и прогулок школьников-старшеклассников. Вон дом Андрея Егорова, а вот — Ритки Бершадской, а вот — загс, где в прошлом году оба друга Лени «обручились» наконец. А здесь жила Ольга Ивановна, любимый школьный педагог, наизусть читавшая всю русскую литературу вплоть до нелюбимого Гончарова. Однажды отличник литературы Павликовский, начитавшись Белинского, выдал такое сочинение об образе Татьяны Лариной! «О Татьяна, Таня, тихая душа! Не верь — никогда, умоляю — не верь Онегину! Он айсберг, прикинувшийся хлыщом. Он пижон, не верь ему, умоляю!» И Ольга Ивановна, любимый педагог, наутро прочла, не поняла и оценила «сочинение» на сумму один (1) балл. Потом старенькая, высокая и худая учительница вела с ним беседу возле подоконника в коридоре третьего этажа. И в душе он простил ее. Она не знала ничего — так думал Леня. Он не бредил, он писал письмо Аллочке Сергеевой, и за вычетом имен Татьяны и Онегина все в письме было от сердца, от любви и от первой горькой ревности к Женьке Дашевскому, стиляге и обманщику, девчачьему кумиру.

Четырнадцать пятьдесят. Останкино. Телецентр. Бюро пропусков. Милиция. Гардероб. На второй этаж.

Здание — модерн. Простор, толпы, дневной свет и раздражающее бездушие серых пористых стен.

Навстречу Лене — группа загримированных, в бородах и тулупах персонажей. Это из второй студии, где снимается что-то о деревне. Из бесконечного коридора машет рукой Слава Ефимов — редактор и товарищ. Мол, порядок, спасибо, что явился, все готово к съемке. Гримерная. Симпатяга Анечка-гример.

— Ань, поехали. В темпе. Не темни глаза. Я смотрел материал.

— Я тоже смотрела материал. У вас очень хорошие глаза на экране. Грим нормальный.

— У него вообще красивые глаза! — пробасила гримируемая, вся в фижмах и кружевах артистка старого замеса, неизвестная Лене.

— Ну, меньше темни. Не люблю я этот грим. Чувствуешь себя конфетой. Играть невозможно.

— Мне режиссера велят слушаться, а режиссер требует грима.

— Да не обижайся, солнышко. Я же вообще рассуждаю. Даже не о камере, а о театре. Грим — это препятствие между зрителем и актером. К тому же пережиток прошлого. У меня дед был актер императорских театров, я знаю все!

— Знаем, читали в «Экране» и про вас и про дедушку. Все, готовы, Леня.

Леонид чмокнул Анечку в щечку—и на ухо, но так, чтоб все слышали:

— Искусительница сирзна, ну где ты была, когда я о тебе мечтал десять лет назад? Ну почему ты мне не встретилась — нежная, хрупкая — в те года мои дале-екие, в те года...

— Десять лет назад она под стол пешком ходила,— решительно пробасила фижма в кружевах.

И песня смолкла.

— Бегу! Мерси, Анюта!

— До свиданья,— кротко улыбнулась искусительница, привыкшая к смешным фривольностям вечно бегущих актеров.

Кубическая махина — студия, заставленная тремя передачами, отозвалась хором голосов: «Павликовскому — привет!» Осветители ставили свет, спускали и подымали фонари с высокого поднебесья. Рабочие заколачивали станок, кто-то застилал пол, реквизиторы расставляли цветы, посуду, бутафоры несли статую, операторы помогали ставить свет... Режиссер отпустил Леонида на десять минут и согласился снять его за час. То есть вошел в положение. Так. Снова коридор... Костюмерная.

И в предбаннике костюмерной, уже загримированный и наряженный мушкетером Франции, Леонид подсел к телефону и через «восьмерку» набрал номер...

— Мама!

— Леня, как не стыдно! Два дня не звонишь. У отца фурункул на носу. Лекции отменил. Все отменил. Температура — тихий ужас. Ты же знаешь, как он умеет болеть: одну меня допускает... А ты не звонишь.

— Тебе я звонил. Было занято. А ему не хочу. Пусть поправится — тогда нормальный разговор. Галка в порядке?

— Да, хорошо. Я говорила с Леной. Все знаю. В субботу заберу ее к себе.

— Лучше бы с Аллочкой — за компанию.

— Чтобы Тамаре посвободнее?

— Не стыдно, мать? У Тамары зачеты на носу, тянет семью, лабораторию, институт — не стыдно?

— Это ты тянешь, ты! Дурак покладистый!

— Привет, невменяемая! Целую. Отцу привет и фурункулу — тоже.

— Чтоб он лопнул, черт такой!

Еще звонок — в институт, полимерная лаборатория профессора Арсеньева.

— Тамару Павликовскую, будьте добры.

— Тамара! Тамара! Минутку. Это ее муж? — сладко-обольстительно подъезжает сотрудница.

— Алло! — Тамара выхватила трубку. И она и Леонид не скрывают ревнивых пережитков. — Алло, слушаю.

— «Ты — мое дыхание, утро мое ты раннее...» — запел полушепотом меццо-баритон.

— Ну вот, здравствуйте,— растаяло с того конца провода.— Спасибо. Вспомнил?

— «Я себя измучаю, может быть, стану лучше я, по такому случаю ты по-до-жди!»

Трубка повешена из соображения эффекта.

Пятнадцать часов двадцать минут. Идет девятый час трудовых будней артиста Павликовского.

Тяжелые двери студии запираются. На высоком табло загорается: «Микрофон включен». Трижды рычит сигнал звукорежиссера. Помощница с наушниками подошла к микрофонному «журавлю».

— «Арамис у герцогини». Сцена шестая. Дубль первый. Один, два, три, четыре — отойдите от Арамиса! — пять, шесть, семь, восемь, девять — я сказала, уйдите из кадра! — десять, одиннадцать...

Возле Леонида — серый пиджак в толстых очках, корреспондент газеты.

— Простите, значит, я вас жду в павильоне?

— Не надо ждать, я не успею.

— Успеете, Леонид Алексеич, мне два слова. Я жду.

— Не ждите.

— Уйдите из кадра!

Вокруг зашипели. Серый пиджак похлопал Арамиса по кружевному манжету и отошел, поправив толстые очки.

— ...тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок!

Камера заработала: зажегся красный глазок на макушке. Герцогиня сидела, рассеянно глядя в сторону. Потом оживилась и поднялась навстречу вбежавшему Арамису. Он склонился к ее прекрасным ручкам, после чего оператор, орудуя усами рычагов и нажимая на педаль, неслышно подвез камеру к обоим актерам. Рабочие, гримеры, бутафоры и старушки в белых халатах, следящие за проходами камер,— все уставились в студийный телевизор — монитор, где отразился наезд оператора и укрупнились лица обоих актеров.

— Стоп,— тихо приказал оператор и снял наушники.

— Актеры, спасибо, все хорошо. Леня, быстро целуешь руку. Чуть подлиннее кадр. Борис не успевает на вас наехать.— Режиссер громыхал с пульта по так называемой «громкой связи».

— Хорошо, продлю удовольствие.— Леня улыбнулся партнерше. Она — ему.

— Продли. А так все прекрасно. Руфина Андреевна, не торопитесь увидеть Арамиса. Пускай вами полюбуются телезрители. Мы сами подрежем кадр, если надо.

Снова скороговоркой засчитала помощница:

— Дубль второй. Один, два, три, четыре, пять, шесть,— вы отойдете от Павликовского или нет?!

— Идите, идите, вас ведь выведут.

— Ладно, привычный. Только два слова — я жду?

— Вы отойдете или нет?! Двадцать два, двадцать три...

Вокруг зашипели, толстые очки юркнули в тень, поближе к монитору.

— ...тридцать девять, сорок!

Герцогиня томно взирала вдаль. Медленно повела популярной головкой на восхитительной шее, зритель успеет насладиться и красотой и туалетом... Встреча. Арамис у ее ног. Оператор наехал на их лица. Вопрос — ответ. Вопрос — помедлила прекрасная герцогиня. Арамис тогда — еще вопрос. Требовательно и вместе с тем нежно, по-арамисовски. Герцогиня закрыла глаза длиннющими ресницами того времени и той страны... Потом утвердительно кивнула своему тайному другу, по-герцогиньски кивнула.. Друг пылко ринулся целовать ей руки. Не тут-то было! Герцогиня еще более пылко, чем он, приблизила его голову, и тут состоялся поцелуй, за который впоследствии, глядя передачу дома, жена Тамара наградит Леонида дежурным шлепком пониже спины.

— Спасибо, сняли! Минутку подождите, как по технике прошло... — Режиссер сделал паузу, видимо, созвонился с аппаратной, где проверили пленку, и снова включил «громкую связь».— Спасибо, порядок. Таня, зовите д'Артаньяна. Руфина Андреевна, переодевайтесь на дворцовую сцену. Арамис, вы свободны Молодец. Но руки целовать все равно торопишься. Это было время, когда никто никуда не торопился.

— Даже если очень спешил?— на бегу огрызнулся Леонид.

— Даже если спешил — именно! — гремело ему из-под небес.— Поспешай не торопясь!

Он летел по коридору, за ним — гримерша Анечка, за нею — серый пиджак в толстых очках.

Заколки из парика—вон, крем на лицо, грим стереть.

— Анечка, пока я вымою лицо, ответь на вопросы товарища из газеты.

— Что говорить?

— Вот ведь шутить вы успеваете,—укорил его корреспондент.

— Скажи так: служенье муз не терпит... интервью — это раз. Во-вторых...— Леонид яростно намылился, затем начал дурачиться, отфыркиваясь и плескаясь горячей водой. Аня, смеясь, ждала его с вафельным полотенчиком.— Во-вторых, истина заключается в том, чтобы поспешать не торопясь или не интервьюясь... Анюта, целую. Пошли, товарищ.

По длинным коридорам, кивая знакомым и вглядываясь в незнакомых, Леонид прошел к боковым площадкам, поднялся на один этаж и еще через полкилометра оказался возле тон-студии номер четыре. Здесь записывались на пленку голоса героев к будущему мультфильму «Мистерия-буфф» по Маяковскому.

— Добрый день, Нина Афанасьевна. Привет, режиссура!

— Ребятки, у вас есть полчаса. Попейте кофе. Мы должны пройти все куски цирковые и финал. Ровно полчасика. Простите меня, старика.

Заныли на разные голоса актеры: «А я не успеваю», «А вы мне обещали»... И обязательно возглас: «Зачем я брала (брал) такси от театра?!» Режиссер включает автоматическое лицемерие (иначе можно сорвать всю смену!):

— Милые мои! Толя-лапа! Нинулик-золотце! Владимир Семеныч-солнышко! Родные мои, ну войдите в мое-то положение! Смену мне переносят второй раз, роднулечки мои, горю! С восьми утра как угорелый... Только-только надежда появилась — не режьте вы меня, старика. Полчасика — и я вас, богом клянусь, скоренько запишу, солнышки вы мои маленькие! Попейте кофейку, и голосишки будут лучше звучать, отдохните!

Все разбежались. Леонид и корреспондент — на лестничной площадке. Закурили.

— Леонид Алексеевич, у вас бывает такой день, когда вы никуда не торопитесь?

— Не бывает. А у вас бывает?

— Пожалуй, да. Два раза в неделю, на теннисной площадке.

— А я фанатик голубого бассейна, имею даже первый разряд по волейболу, но лет восемь уже, нет, шесть, наверное, только соберусь, только засучу рукава...

— Понятно, «Мосфильм».

— Нет, жена! «Ты не забыл: твое дежурство, покорми детей, сходи в магазин...» О «Мосфильмах» уже не говорю. Так все выходные — хлоп, и нету!

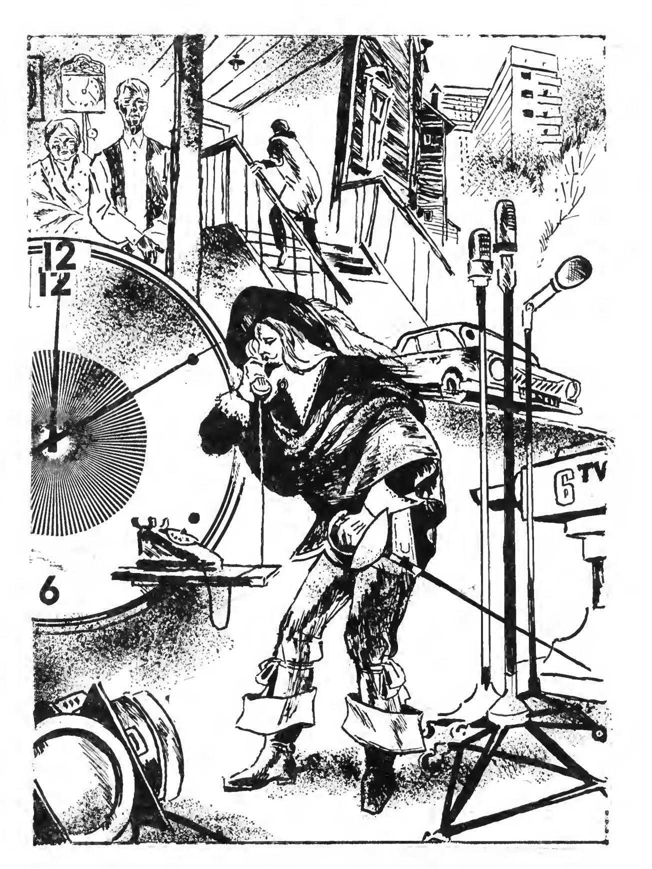
— Скажите, пожалуйста, вы не читали нашу рубрику «Встреча с интересным собеседником»?

— Читал. Вас ко мне направили, как к интересному?

— Ну да. Тут, правда, и письма есть и статья у вас была любопытная в «Смене». Кроме того, пардон, моя личная инициатива. Я за вами давно наблюдаю.

— Вы?!

— Я. Извините за исповедь: перед вами — несо-


12
12
6
6 TV

стоявшийся артист. Ну, сбежал, кончил журналистику, ладно. Но что меня убивает: сколько ни хожу в театры и рад бы завидовать... Понимаете, даже обязан человек жалеть о прошедшем, себя жалеть, да? Убей меня бог, ничего нет! Понимаете?

— Не понимаю.

Странный тип какой. В студии лез прямо в кадр, чуть не вывели его. По коридору семенил за Леонидом, глядел себе под ноги, что-то всю дорогу мурлыкал под нос.

— Не понимаете? Ну, не радуют меня театры, скучно мне. В крайнем случае блеснет новое имя на раз, на два, потом вглянешься в него покрепче или сам с ним познакомишься... Скучно, Леонид Алексеич. И не завидно.

— А у литераторов веселее?

— Да я не о том. Или артист хороший — человек никакой, или человек не дурак — артист средний. Тотальная инверсия в пользу режиссуры. Режиссеры — вот это да. Тут есть на что посмотреть.

— Простите, я на часы гляжу не оттого, что скучно, а оттого, что...

— Ну, к черту мою жизнь. Возьмемся за вашу.

— Моя не дастся.

— А что?

— Выскользнет, я убегаю, извините.

— Вот те раз! Только разговорились...—растерялся и по-детски преданно взглянул корреспондент в глаза интересного собеседника».— Ну, одно слово, Леонид Алексеич, одно слово!

Пять часов пополудни. Официально семнадцать ноль-ноль. Позади десять часов жизни Павликовского, драматического артиста.

В огромном окне, что на лестничной площадке, солнечный март, далекие дали московских домов. Белые ряды близнецов — новожилов столицы. Все правильно. Сказано: белокаменная Москва. Так и есть. А справа—Останкинская усадьба Шереметьева, дворец-театр, который построен крепостными и в котором играли крепостные. И венчает островок старой культуры церковь 1688 года рождения, зеленоглавая и тонкошеяя. Рядом — пруд, еще рядом — вот эта тринадцатиэтажная махина, телемуравейник, а через дорогу — Останкинская башня, превосходящая и Эйфелеву в Париже...

— Ладно, давайте, отвечаю телеграфным стилем.

— Спасибо. Ваши любимые роли?

— Те, что завтра дадут.

— Ясно, а из тех, что вчера?

— Роль отца моих дочерей.

— Ладно. Как соотносятся ваши кино-, теле- и театральные работы? Мешают, безразличны или помогают?

— Смотря какие, с кем, когда и как.

— Так. Неясно.

— Я, правда, неинтересный собеседник. Честно!

— Так. Ясно. Если бы не были актером, какую профессию предположительно вы... ну, что вас еще греет?

— Серьезные вопросы в несерьезной обстановке...

— Простите. Ваш любимый писатель?

— Не скажу.

— Почему?

— Во-первых, их несколько, а во-вторых, не скажу... Ну, Гоголь, Пушкин, Булгаков, Маяковский, кто еще? Ахматова, Мольер, Чехов, Твардовский и кое-кто еще. Напишите — Козьма Прутков. Это будет искренне.

— Спасибо. Ваши близкие друзья — актеры или люди чужих профессий?

— Чужих, только чужих.

— Вот! Я про это вам и намекал.

— Простите, я убежал.

— Ой, еще секунда: считаете ли вы, что актерская профессия устарела, ну, видоизменилась функционально, что режиссура фатально торжествует? Театр прошлого — это имена Кина, Каратыгина, Сальвини — актеров; театр нашего времени — это Станиславский, Эдуардо де Филиппо, Мейерхольд, Вахтангов, Брук, Любимов, Эфрос и т. д.? Актеры уходят, режиссеры остаются?

Леонид кивнул кому-то проходящему, заглянул за угол, вернулся, опять закурил.

— Мда-а. Это вы всем «интересным» такие вопросики кидаете?

— Вас удивляет? — Серый пиджак холодновато блеснул очками и тоже закурил.

Леонид оглядел его, затем уставился в окно, туда, где церковь и дворец — творение крепостных, подневольных рук. Вздохнул.

— Театр не видоизменился, он просто стал театром. Раньше было добровольное общество кочевников-солистов. Таким был мой дед, например, в юности. Были великие всплески, независимо ни от чего. В дурацком водевиле проявился великий актер Щепкин, который, с другой стороны, не любил и почти не играл Островского. Солисты не зависели ни от пьесы, ни от партнеров. Но это, извините, еще не было театром. Театр искал себя.

— Как же независимо от пьес, если Гоголь...

— Я имею в виду не Гоголя, а солистов-гастролеров. Словом, я считаю: театр как таковой сформулирован полностью лишь двадцатым веком.

— Сформулирован и похоронен.

— Молодец, люблю пессимистов, веселенький народ. Театр — это оркестр, вы согласны? Какие бы звезды ни входили в труппу, театр — это оркестр, да?

— Положим, вы правы.

— Давайте сравним с едой. Вы любите плов?

— Не понял. Допустим, люблю.

— А ведь вкус плова организован совместной, так сказать, оркестровкой риса, мяса, лука, специй, моркови и так далее...

— Не последнюю роль играет и казанок!

— Молодец! То есть помещение, здание, акустика, если сказать по-театральному. Так вот к чему я все это? Театр стал театром в том смысле, что научился готовить плов — хуже или лучше, но именно такую оркестровочку. А в старые времена вам предлагалось в отдельности — вот огурец, вот ветчина, вот лук, морковь... Театр еще смущается порою. И когда говорят: режиссер задавил актера — чушь! Любой оркестр дирижерский, любой театр режиссерский! Только есть первая скрипка в новопупкинском симфоджазе, а есть первая скрипка у Кондрашина или у Стоковского... Я сбежал. Иду, Володя, вижу! Иду!

Его уже ждали в студии. Маленькая, герметично-тихая комната с пюпитрами, коврами, микрофонами. Если набрать всей грудью воздух и прервать выдох, крепко закрыть рот и нос — вот такая же погода в тон-студии. Вместо одной из стен — большое толстое стекло, за которым шевелят губами звуковики и режиссер. Нажмется кнопка — и здесь станет слышен голос оттуда:

— Еще репетнем двенадцатый номер. Толя, Женя, отойдите от микрофона, чуть левее, так. Прошу, репетиция! Начали!

Запишут на пленку голоса всех персонажей. И так, как хочется режиссеру, и так, как вздумалось актеру... Много вариантов-дублей. А потом целый год

художники, операторы, режиссер, ассистенты будут выстраивать по капельке, по шажку, по кадрику будущую ленту. Но под каждый штрих на экране, словно в лунку мячик, уляжется слово, записанное сегодня.

— Спасибо. Леня, Володя, погуляйте, Лида вызовет вас. Возьмем шестой листочек. С Мафусаилом. Нина Афанасьевна, прошу. А вас позовут, лапушки, не страдайте. Две минуточки, и полненький порядочек, солнышки вы мои маленькие...

Журналист на вахте.

— Да, какие у вас пожелания как у читателя нашей газеты, Леонид Алексеевич...

— Не знаю. Вам виднее. Ну, пускай о хороших актерах пишут раньше, чем те полысеют или выйдут в народные. Вот еще что. Молоко! Понимаете, если сравнивать области искусств с едой, то архитектура, музыка, литература — это долгохранящиеся продукты питания, да? Микеланджело вон из каких веков к нам витамины жалует, да? А театр? Театр — это молоко. Его можно употреблять лишь сегодня. Но зато какой вкус, какая польза! И сколько от него масла, сливок, сыра — чего хотите, да? Но завтра — стоп, лучше не пейте вчерашнего молока, да? Порча желудка и так далее.

— И какие выводы?

— Выводы? По-моему, срочные. Прежде всего меньше трепаться: мы художники, актер — тайна, нутро творца... И чушь! И нечего ссылаться на прошлые достижения. Остужев был великий артист, но я лично не могу долго слушать в записи его завывания. Молоко есть молоко!

— Да, а что вы скажете нашим читателям на прощание?

— Служенье муз не терпит интервью! Прекрасное должно быть... молчаливо.

— Леонид Алексеич...

— А вы: «Режиссерский, актерский»... Юрий Яковлев — прекрасный артист? И Ульянов, да? Дайте им пожить солистами, без режиссуры да без репертуара — знаете, что выйдет?

— Знаю.

— А я не знаю. Убежал! Простите...

— Павликовский пришел? Так. Сорок четвертый номерочек возьмем в ручки, ребятки. И потешим старенького пробой. Первая репетиция. Все ясненько? Начали!

Над серо-стеклянным коробом телецентра — круглое предзакатное солнце. Если взлезть на башню-соседку, телецентр окажется спичечным коробком. Переведем взгляд. Проспект Мира. Ровные ряды домов. Бывшая Вторая Мещанская. Даже очень высокая точка зрения ловит улицу на неровностях, на досадной кривизне и неуклюжих пережитках московской старины. Стоп. Вот дом, в котором живет Леонид. Идем на снижение. Тетя Лиза, сидя на диване возле бывшего детского ящика, отвечает телефонному звонку:

— Он просил вас завтра, завтра! Он позвонит, он очень аккуратен! Зерчавкин, я передавала, Булат! Ах, Самсон! Да-да, он так и сказал. Ой, вы знаете, он так занят, так занят... Хорошо, до свидания. Он позвонит. Зерчавкин. Булат.

— Вот спасибо, лапушки, ну спасибо! Второй дублик— в яблочко. Молодцы, умнички! Все свободны! До встречи в эфире, солнышки. Потешили старичка...

Расписаться в ведомости. Разбежаться вниз. Восемнадцать ноль-ноль. Бегом — в гардероб. Машина у подъезда. Сейчас микроавтобус развезет пятерых актеров по пяти разным театрам. Леонид Павликовский прожил одиннадцать часов из своих рядовых будней драматического артиста. Снова проспект Мира. Снова, теперь уже справа в окне — его родной дом. Скользящий взгляд мимо. Никого не видно. Ленка уроки приготовила, конечно. И Аллочку из сада забрала. Ага, вон капюшон в клетку — это младшая. Дети гуляют. Пасутся в палисаднике, на радость тете Лизе. Та готовит ужин и поджидает Тамару. Если Тамара не в институте на занятиях, то через десять минут племянница и тетка обменяются взаимными претензиями. «Почему Алла в новых ботинках гуляет?» — нервно взыщет жена. «А я и не видала, я еле поспеваю дома за ними убирать. Вы их совсем разбаловали»,— отпарирует тетя Лиза. «Ну да, опять я во всем виновата. Я и полимеры давай, я и курсовую пиши, я и детей не балуй, все я. Одни вы хорошие!» — выйдет Тамара на высокие ноты семейного вокала. И пойдет, пойдет чудный спектакль. Но вот Тамара перекусит, утолит голод и жажду... «Теть Лизонька, дай, я тебе помогу,— чмокнет, сытая, в пожилую щеку.— Совсем ты у меня заработалась. Иди полежи у своего телевизора ненаглядного». «Спасибо, Томчик, нет уж, я люблю все доделать, раз принялась. Лучше ты отдохни от этих полимеров». И, лицемерно вздохнув, жена Томчик охотно отступится от тетки, уйдет в дальнюю комнату, дабы окунуться в незаконное сновидение...

Восемнадцать пятнадцать. Микроавтобус стоит возле Центрального детского театра. Вышел актер. Хлопнула дверца. Едем дальше.

Самый центр Москвы. Самый пик дня. Сереет прозрачное небо, отовсюду — звуки шагов, движений, говора, возбуждения. Наступает редкое мгновение, когда одновременно утоляется чревоугодие всех каменных гулливеров. Двери распахнуты, словно голодные пасти. Двери домов впускают жителей, которых отпустили двери учреждений; двери метро забиты до предела; двери универмага быстро всасывают толпы покупателей, мигая многоэтажными глазами дневного света; подъезд Большого театра вовсе не виден: его весело закрыли счастливчики с билетами «на Плисецкую»; двери Малого, двери Детского, двери гостиниц и магазинов... Компания каменных гулливеров поглощает свой вечерний ужин—разношерстный, пестроцветный лилипутовский шашлык...

Восемнадцать двадцать. У МХАТа.

— Привет, Сева! Константину Сергеичу нижайшее! Заодно всем хорошим людям!

— Хорошим передам, поищу и передам! Привет! — Хлопнула дверца.

Едем дальше.

Леонид в своем углу. В беседах не участвует к приветам не присоединяется. Во-первых, проехав свой дом, почувствовал вдруг голод. Надо было, чем интервью давать, кофе со всеми выпить. А во-вторых, впереди Хлестаков, «Ревизор». Вот Леня и молчит. Конечно, перед такими ролями приличные артисты дома сидят, готовятся. Когда ролей не играл, целыми днями дома возился, с детьми. А теперь все наоборот. Звонят, зовут, хлопочут, машину подгоняют к дому, идут на любые уступки: снимись, запишись, озвучи, приди, помоги, Леонид! Хорошо еще есть отличие от других. Другие (тоже заводные, вроде него) на все с размаху кидаются: закрывши очи, на любую чушь согласны, лишь бы «дело», эфир, экран, деньги, время...

Восемнадцать двадцать пять. «Второй дом» Леонида. Нарядный подъезд. Толпа народа.

ВЕЧЕР

— Гражданин, у вас лишнего билетика... Ой. Простите!

Узнали, смутились жаждущие зрители. Так. Служебный вход. По времени — все в норме. Теперь бы еще в состояние взойти. Есть у Павликовского своя заветная отмычка... В ходе репетиции надо выдумать характер, обжить текст, привыкнуть, выработать рефлексы и отношения... Ладно, это кухня. И это, как у всех. Но он еще долго не порадуется новой роли, новой премьере... И до той поры, пока куда-то в душу, в зрение, в слух, а скорее даже в обоняние не войдет какой-то особый... привкус «того человека». Это даже никак не изловишь. Вдруг за полчаса, за час до звонка откуда-то явится такое желаемое, знакомое предчувствие... И оно осядет почти вкусовым ощущением на губах, во рту, растворится своею теплой жизнью во всем теле и создаст новую энергию... Тогда при нормальной боязни встречи с тысячным залом людей, рядом с напряженностью всего, что составляет театр, появится единственный, павликовский азарт: поскорее начать, выскочить на сцену!.. Ведь уже родилось такое, чему нет жизни без публики, без света рампы! Скорее, время, скорее!.. И благословенное нетерпение — тайный хозяин театрального зрелища — вытолкнет на сцену одного за другим партнеров: Городничего, Тяпкина, Землянику, Бобчинского-Добчинского, всех, всех... наконец, Осипа... И вот он, здрасьте, твой выход: Иван Александрович Хлестаков, из Петербурга...

— Леонид Алексеевич, вас тут спрашивали... Кто спрашивал Павликовского?

Восемнадцать тридцать одна. Время идет.

— Простите, можно вас на две минутки?

— Да, слушаю.

— Вы нас не знаете, мы из Куйбышева. У нас командировка на два дня.

— Простите, я опоздаю, я ничего, к сожалению, не могу для вас.

— Ну, товарищ Павликовский! Ну, родненький!
Леонид вернулся. Почему он вернулся? Он же опаздывает.

— Я понять не могу: почему, собственно... я ведь не администратор... почему вы ко мне?

— Видите ли, у нас ездили другие... Ну, одним словом, у нас говорят: если билетов не достанешь, попроси Павликовского, а в Сатире — Авшарова, они добрые, они помогут...

— Алло, Наталья Борисовна, это Леня, да. Ради Христа два «стоячих»... да, спасибо. Идите в кассу, на мою фамилию, входные билеты.

— Ой, товарищ Павликовский!

Исчезли инженеры, муж с женой. Или сослуживцы. Она, между прочим, очень даже ничего... Гм! Ну, вперед. Она ничего, да и я ничего. Вот, говорят: добрый. Им — от Урала до Волги, — оттуда им виднее. Трам-там-там... Урал, Волга, Кавказ... проснусь утром — все под окнами толпятся — дай билетик, дай билетик, Добрый! А то будешь Недобрый! На, Кавказ! На, Алтай! На, Амур! Кстати, об амурах...

— Приветик, Павликевич!

— Здорово! Потом, потом, Кулич, пусти, не шути, а то как врежу...

Все в порядке. Настроение случилось. Гримерная. Леонид напевает. Родилось нетерпение, оно сладко щекочет, подбирается к душе.. Спасибо инженерам из Куйбышева. И тебе, Урал. И тебе, Амур. И вам, тридцать пять тысяч моих курьеров. Только одна просьба: дайте покой, дайте медленно переодеться, загримироваться... Не трогайте человека. Одевшись, вызвать старшего гримера. Старик Виктор Поликарпович — грубый голос, нежные руки — мастер всесоюзного значения. Каких он только не лепил портретов: и Николая II, и Пушкина, и Ленина, и Маяковского, и Горького! Портретный грим — это значит, глядишь на актера и ахаешь: да это Пушкин сошел с портрета.

— Здравствуйте, Виктор Поликарпович.

— Хлестаковствуйте, Ляксеич! Готов? Паричок. Так. Держи височки. Молодец. Ну, вот теперь красавчик какой. Все не соображу, Ляксеич. Вот девицы сохнут, допустим, по тебе. Ну, хорошо. Но как ты их обслуживаешь — в розницу али оптом?

— Девицы по Куличу сохнут. Меня чтут исключительно пожилые дамы и дефективные интеллигентки.

— Ляксеич, тю! Старого доку облапошить норовишь? Неужто огорчаешь девчушек?

Леонид вдруг вскочил и, покровительственно обняв старика, сказал себе в зеркало:

— Душа моя Тряпичкин, при взгляде на слабый пол, гадом буду, завсегда сам же и слабею. Так что уж я становлюсь слабым полом, а дамы — сильным... И что ни дама, то, не поверишь, конфект, роза, эмлирея, одним словом... Как другу могу открыть: сидишь, бывало... вот эдак рукою объемлешь формы... такие формы!.. А тут, гадом буду, еще две болонки (посольские жены)... и тоже с формами головокружительными... А я их эдак фронтально лицезрю, потом как хорально приближу... ах! Душа моя — чувствую в груди своей силы необъятные... Впрочем, это уже из Некрасова.

— Ха-ха-ха! Импровизер, Ляксеич!

Раздается второй звонок. Леонид выходит покурить. В коридоре диванчик. Как хорошо. Тьфу ты, ужасно: идет! Самый нелюбимый человек — жена главного режиссера Тина Иванна. Ужас.

— Здрасти, Тина Иванна. Какое платье красивое! И очень вам...

— Полно врать-то. Старое платье. Правда, в Копенгагене купила. Меня ваш Хлестаков в прошлый раз огорчил. Я, знаете ли, скрывать не привыкла, пускай мой муж вас лелеет. Огорчил Хлестаков. Я ведь, милый мой, Михаила Чехова помню в данной-то роли.

Ну, помнишь — и помни. Отстань, дереза. Все Кончился кураж. Обдавая собеседника смешанным ароматом французских духов и коммунального духа, дереза надменно учит, мучит, цедит, зудит и испытывает терпение. За что больше всего не любят эту «даму номер один», так это за собственное бессилие. Если б она хоть в отдаленной степени представляла себе, что о ней думают и говорят за глаза, она бы исчезла навеки либо ушла в монастырь. Но ни один работник театра не в состоянии глядеть правде в глаза, а если глядит Тине в глаза, то говорит неправду. Ну, что это за мерзость: «Какое у вас платье красивое!» Ужас.

Еле сбежал от дерезы, хотел снова войти в настроение, стоп. Опять у накидки пуговица на ниточке.

— Варя, Нина! Костюмеры!

— Иду! Слышу!

Девятнадцать часов московского времени. Прожит двенадцатый час рабочего дня Павликовского Леонида...

— Иду! Что еще, Леня, ну?

— Это что? Три раза просил затянуть пуговицу, ну как я выйду на сцену?

— Про три раза не слыхала, зашить зашью, орать не надо, Леонид, не надо...

— Когда человека изводят и работать не умеют, человек орет!

— Не надо, мине плявать на вашу нервность, у мине самой нервность. Зашить зашью, орать идитя на своих девок, актрысочек. На них орнтя и чего хотнтя.

— Да я не на вас! Но это меня с пол-оборота всегда заводит... Никто не умеет работать! И не хочет! И стыда нет за это! Тьфу! Золотые руки — ну да, золотые. Но эти золотые руки должны не на пузе лежать, а дело делать!

— Вот верное слово, Ленечка, верное слово.

— «Верное»... Скверное! Мастера справедливых речей, любители собраний! Театр называется. Меня что бесит: победителями соревнования назвали Павликовского и Куличова за что? За то, что без опозданий и за то, что всегда трезвые на сцене. Так это же норма! А мы — герои! Стыд божий! Стыд божий! — И чего он перед старухой выступает, чушь какая-то.

Двадцать часов. Тринадцать из них бодрствует актер Леня Павликовский. Драматический, между прочим.

Двадцать два часа. Пятнадцать часов трудится человек. Зрители довольны. Актеры разыгрались. Хороший спектакль похож на хорошую компанию со страстным рассказчиком. Если рассказ с ужасами, после него мрачная тишина и тихое прощание гостей. Если рассказ смешной, все громко реагируют, добреют друг к другу, а сам рассказчик жалеет, что закончил, чего-то еще добавляет, какие-то подробности, и все снова хохочут, смакуют, довольны... В последнем антракте Леонид зашел в актерский буфет, взял кофе и кекс. Серый пиджак, батюшки! Откуда?

— Простите, Леонид Алексеич, можно еще вопросик?

— Да откуда вы взялись, корреспондент?

— Секрет фирмы. Да я вам мешать не собираюсь, но вдруг? Один вопрос. Да-да, нет-нет. Можно?

— Валяйте.— Леонид допил, доел, поднялся. Журналист сидя продолжает:

— Леонид Алексеич, вот вы столько успеваете за день, вы пробегаете десятки, если не сотни километров... У вас дети, кино, зрители, поклонницы; у вас на лице написана начитанность; у вас, наконец, театр, роли плюс статьи в журналах... А вы все бегаете, бегаете... Скажите... вы ЗА чем-нибудь устремились, или ОТ чего-нибудь сбегаете? Извините за каверзность оттенка.

Леонид внимательно вгляделся в толстые очки. Сел. Посмотрел на часы.

— Как вас зовут?

— Это неважно.

— Нет, все-таки?

— Я занимаюсь вами, Леонид Алексеич, и я хочу знать как можно больше о вас. Когда я закончу работу, тогда вам представится возможность заняться мною. Итак, или вы кого-то догоняете, или вы от кого-то удаляетесь?

Первый звонок на последний акт.

— По-моему, живущего в нашем ритме человека легче легкого купить таким глубокомысленным вопросом. Спроси любого: «Расскажите, что у вас за жизнь, какие заботы...» — и какого бы уровня ни был человек, он вас благодарно оглядит и часа на два уйдет в ответное глубокомыслие.

— Но это естественно, это своего рода антракт. Каждый нуждается в остановке.

— Ну да, а теперь, когда гонки совершаются массовым порядком, антракт означает встречу с самим собой. Мы спешим, не успеваем, мы видим в день до миллиона человек, а скучаем больше всего по себе, ибо в самой большой разлуке я лично нахожусь именно с собой... А потом жена дети...

Второй звонок.

— Спасибо, это удачно сказано.

— А почему спасибо?

— Потому что доверие ко мне. А на вопрос так и не ответили.

— А вы, по-моему, тот самый ревизор, который не Хлестаков, а настоящий, а? Ха-ха-ха!

У входа на сцену, в узеньком проходе телефон.

— Слушаю!

— Тамара-ханум! Салям!

— Леня, тебе тысяча звонков. Тетя Лиза записала, а при мне звонил Зерчавкин, он тебя ругал разными словами...

— Как дети?

— Дети спят. Алка опять ни черта не ела. Как тебе удается ее кормить?

— Томочка, я звонил час назад, почему тебя не было?

— У Инки была. Что за расспросы?

— Не было тебя у Инки.

— Значит, вру. С молодыми людьми гуляла, Леонид Отеллович.

— Давай, давай. Видать не очень успешно, если Аллочку накормить не могла...

— Как тебе не стыдно! Ты лучше со своими разберись! То дышат в трубку, хулиганки невоспитанные, то эта анонимка из театра в прошлом году...

— Ну, это — дело не нашей совести... Зачем, я не понимаю, обманывать... «К Инке», главное. Зачем?

— А чтобы глупых вопросов не задавал! В булочной была, на, проверь свежесть булок! Да за тортом простояла!

— «Сказка»?

— «Сказка»! Ты спектакль кончаешь?

— Три звонка. Бегу на сцену. Да, я не приду домой-то.

— Ка-ак?!

— Ну, концерт у меня, я тебе еще вчера...

— Я тоже хочу к тебе на концерт!

— Тамара Отелловна! Стыдитесь. Целую!

— Ленька, ты догуляешься! Шучу, черноголовый...

Тамара тихо вошла в темную спальню, вынула из-под рук Аллочки медведя, из-под подушки стопку журналов «Веселые картинки», расправила одеяло, поцеловала смиренного бойца-худышку. Потом Ленка. Волосы разметались по подушке, одеяло на полу. Поправить все, поцеловать старшую. Лена внезапно поднялась на локте. Рваная речь сонной школьницы.

— Мама! Где? Что ты?! Утро? Ночь? А где папа?

— Спи, курица. Ночь. Одеяла не сбрасывай. Папа в театре.

— А что у него? «В поисках радости» «Ревизор»?

— «Ревизор»!

— А, хорошо.— И бухнулась в подушку, и тут же засопела во сне. Придется резать гланды.

— Теть Лиз! Ты не знаешь, Леня для ларинголога сделал билеты или нет?

— Не знаю, я все забывать стала из-за такой жизни.

— Ну что ты, милая? Жизнь у нас хорошая. Мы дружные, мы любим, все есть. А нервы идут от века. Ну расскажи, как до революции люди нервничали? Расскажи.

— Ты иди, иди, поцелуйщица. У тебя курсовая на носу.

— Нет, ты расскажи. Как звали кучера-то в Пензе? Аким?

— Аким. Он на двух работах был: и кучером и на кухне. А на пасху нас, детишек, все, бывало, возит по Пензе...

А спектакль идет к концу. Городничий, городничиха, дочка и челядь — все прощаются с Хлестаковым. Осип набрал дармового добра, подсунул под барина цветастый коврик, и нарисованная карета «поехала». На самом деле ее красиво перекрыла кулиса.

— Прощайте, Антон Антонович!

— Прощайте, Иван Александрович!

— Прощайте, маменька!—Леонид картинно перегибается через край «кареты», делает отчаянные знаки любви и к маменьке и к дочке, потом «рвет» редкие волоски на рыжем парике своем и якобы в полном огорчении плачет и исчезает вовсе.

Помощник режиссера, бывший актер, Иван Дмитрич старательно кричит из-за кулис реплику ямщика:

— Эй, вы, залетные! — И сам звонит в колокольчики-бубенчики, и тут же шепчет в микрофон на своем пульте: «Володя, топот!» И по радио звучит топот копыт, а потом музыка дороги.

Это прекрасно, что зритель смеется и хлопает. Но идеального «Ревизора» еще не было ни у кого. С точки зрения Леонида — и он сейчас снова об этом подумал, идя к себе в гримкомнату,— идеально было бы так. Чтобы от Хлестакова, например, хохотали, хохотали, а потом каждый подумал бы: «А ведь Хлестаков — это я!» Как Гюстав Флобер заявил: «Госпожа Бовари — это я!»

«А уж актеры — это точные хлестаковы. Взять хотя бы меня,— думал Леня, закуривая и отдыхая.— Ведь я с этим журналистом кругом неправдив. Грубовато говорю из кокетства, ведь если не нравится — откажись совсем. И тоже: любуюсь своими фразами и тем, каким умницей предстану перед читателем... Ах, Хлестаков, Хлестаков!.. И кто тебя выдумал... Знать, у бойкого народа...»

Заключительные аплодисменты. Всюду свет. Зрители, стоя, приветствуют сыгранный спектакль. Везде улыбки, на гримированных лицах — капли трудового пота. Хлестаков получил два букета. В том числе — от той инженерши из Куйбышева.

— Спасибо вам! — расслышал он сквозь грохочущий зал. Привычно улыбнулся цветам, один букетик вручил городничихе, другой оставил себе. Занавес закрыт в третий раз. Зрители расходятся. Жидкие хлопки энтузиастов-любителей.

— Спасибо, дорогие,— возвещает помощник режиссера и выключает лампочку над своим пультом.

— Павликовский, вас ждет машина у входа!

— Спасибо, Васса Григорьевна, я знаю. Скажите, через десять минут спущусь.

— Леня, возьмите письмо. Второй день лежит.

— Ага, мерси. Из Минска? Странно.

Вперед, вверх, в гримерную! На часах — двадцать три ноль-ноль. Господи, шестнадцать часов на ногах артист Павликовский Л. А. из драматического, между прочим, театра Москвы... Шестнадцать часов... У двери гримерной — серый пиджак. Улыбается. Впервые глядит в глаза.

— Ну, не пугайтесь и не хватайтесь за кинжал. Ни слова больше не скажу, если ответите еще на один вопрос.

— Я вам скоро так отвечу... Проходите, Жорж Дюруа.

— Благодарю, мсье Арамис со Второй Мещанки.

— И адрес знаете?

— Мы учились когда-то в одной школе. Я — классом ниже. Но на вечерах отлично помню: «Леня Павликовский прочтет Маяковского».

— А с кем учился: с Алисой Селькашьян или с Леркой Богатиной?

— С Леркой, при мне весь ваш роман прошел.

— Как же я тебя не помню...

Грим стерт, горячая вода освежила натруженные мимикой черты лица. Полотенце. Одеколон. Брюки, свитер, плащ. Нет, плащ рано. Прочесть письмо.

— Прости, я пробегу письмо.

— Ради бога. Но прежде ответьте на вопрос, и я исчезну. Можно?

— Давай, однокашник, слушаю.

— Честно говоря, я начал вами заниматься без особой охоты. Издалека казалось: такой благополучный, такой сытый, везучий, весь в цветах. Потом, после всяких там переживаний в личной жизни, вдруг увидел Павликовского по телевизору читающим Маяковского! И окружение было липовое и Маяковского я давно разлюбил, но, черт возьми, проняло меня! Понимаете, что-то вы сообщали поверх стихов. Дыханием, темпераментом — не знаю. Ну, ладно, время. Вопрос: вы скоро уйдете из актеров?

— Я?!

— Да, вы. Не спешите смеяться. Нельзя такому человеку бесконечно подделываться под этот бодряческий, неправдашний тон.

— Простите, как вас зовут?

— Неважно.

— Да, вы подарок. Отвечаю: я никуда из актеров не уйду.

— Нет, я понимаю: выйти на эстраду. Одному...

— Я повторяю...

— Ну, ясно. Всего хорошего. Остаюсь со своими сомнениями насчет вашей искренности.

— Однокашник, гуляйте, я опаздываю, пока!

Леня пробежал глазами письмо. Потом глянул на часы. Покусал губы, надел плащ и... Перечитал письмо повнимательней. Вздохнул, выбежал из театра, влез в «Волгу», кивнул поджидавшим студентам и в совершенной задумчивости через пятнадцать минут был доставлен в клуб студенческого общежития Московского педагогического. В пол-одиннадцатого от них уехала первая страница устного журнала, потом были мультфильмы, теперь он, Леонид. Коридор общежития пахнет сыростью и щами. Глядя на блестящие очи студентов, никогда не скажешь, что кончаются сутки, что времени полдвенадцатого ночи и что лично Лёнины детки спят уже почти три часа. Шум, толкотня, рассаживание в тесном зальчике. Кто на столах, а кто на стульях. Леонид здоровается, его проводят на крохотную сцену с трибуной. Ребята дружно хлопают и «внимательно внимают», как сказано в одной песне.

— Ну, значит, так. Я, кажется, второй раз в жизни в столь ранний утренний час (хохот), да перед завтраком (хохот), да и перед сном (хохот) — нет, в общем, мне нравится обстановочка... Только надо привыкнуть.

— Вам завтрак несут!

Действительно, на табуретке перед актером расположились колбаса, сыр, бутылка воды, хлеб из студенческой столовой. Все смеются, ибо актер изобразил на лице изумление, восторг и неловкость одновременно.

— Спасибо. Еще бы койку на сцену (хохот) — и полный порядок. Ну так. Я хотел сказать. Меня ваши организаторы настроили читать стихи и монологи, а потом — про кино. Я же прошу наоборот: прежде поговорим, и я, сидя, поотвечаю. Правда... Надо чуть-чуть отойти. А уж потом... Времени хватит. У меня до репетиции — аж одиннадцать часов...

ТЕАТР
«РЕВИЗОР»
СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩ
12
1
9
МАРТ
15

Хохот покрыл его фразу. Аплодисменты, и Леонид сам искренне развеселился посреди несравненного букета юных, жадных до впечатлений, а главное, абсолютно красивых физиономий. Вот сюда бы серый пиджак с его идиотскими вопросами. «Когда вы уйдете из актеров?» Да никогда, пока вот это... Нет, лучше не пиджак, а ту девушку. Вздохнул, вспомнив о письме, нащупал его в боковом кармане, а вечер уже начался. Его спрашивали. Он отвечал. О съемках, об актерах, о курьезах. «А ваше мнение о Хуциеве, а кто лучше — Евтушенко или Вознесенский, а Смоктуновский в театре как?..» Леонид разговорился... Вдруг сам себя остановил и рассмешил студентов случаем из жизни Гоголя... «Вот и я. Вы меня так здорово слушаете, что я незаметно вырастаю в своих глазах. Хлестаков — кто он? Нет, лучше: а кто из нас не Хлестаков?» Они смеялись, но его глаза были строги, ибо ему опять припомнилось письмо от девушки из Минска.

«...Знаете, недавно мы с моей племянницей Аленушкой посмотрели «Робинзона Крузо»... Создатели не верят в романтическую прелесть старой эпохи, и славный Робинзон с его примитивным образом жизни подвергается незаслуженной, обидной критике даже со стороны детей. По-моему, их лишили чего-то доброго, человечного...

Ну, а теперь начну «связывать» Вас с Робинзоном Крузо... Из всех приключенческих книжек, которые я читала моей племянничке, ныне десятилетней Аленушке, наибольший успех у нас имеет «Черная стрела» Стивенсона. Дай бог, чтоб Аленушку не постигло разочарование, если будет поставлен и такой фильм, ибо чувствуется, наш кинематограф крепко взялся за романтику зарубежных авторов.

А Вам бы удалось сохранить Стивенсона, играя в нем... Во всяком случае, зарубежные романтики куда лучше, чем современные сценарии... Театр, видимо, лучше, проще, там голые глаза и чувства, там легче говорить иносказаниями, либо страстями. Но я театр не знаю, я не могу его посещать...

В искусстве нужна высокая духовная честность. Ни одна кривизна в нем не проскользнет незамеченной, как бы мастерски она ни была зачищена. Никого до конца не дезориентируют ни хвала статей, ни звон гонораров...

Я не могу вставать, поэтому радио и телевизор — мои постоянные собеседники, как это ни печально для них (конечно, для них: я же не научилась прощать). Когда я работала под Москвой, учила детей рисованию и столкнулась с самыми мерзкими проявлениями в жизни. Люди не пощадили моего незнания и моей веры в них. Но бог с ними. Меня оболгали и обокрали в прямом и любом смысле слова. Я не собираюсь ничем делиться, просто я никогда не писала длинных писем.

В прошлом году я увидела Вас в постановке, где Вы мне очень понравились. Вы читали Маяковского, от которого я никогда не была в восторге. Даже в школе... Я как будто давно утратила способность восторгаться, но тогда долго жила этим впечатлением... Вы пробудили во мне массу наилучших чувств и даже симпатию к жизни, на которую у меня давно не осталось надежд. Как славно, что такие чувства и такие вечера случаются еще... Благодарю Вас. Вы вернули мне тогда немножко жизни. Кусочек былого очарования. Это для меня очень важно. Очень важно...

Хотела бы когда-нибудь увидеть Вас в жизни, но знаю, что это теперь утопия. Мои шансы на будущее все больше сокращаются. Жизнь моя все более неподвижная. Да мне и не хочется в Москву. Там было слишком холодно.

Если из моего письма хоть что-то покажется интересным, если это вообще возможно, отпишите мне пару слов о себе. Или что-нибудь доброе.

Это будет самым большим счастьем для меня, сударь.

Желаю удачи. Во всем.

Римма Резникова».

Четырнадцатое марта закончилось. Спят тысячи окон, сотни домов, лежа дремлют десятки улиц Москвы, вяло покачиваются на ходу редчайшие машины. Весело дежурит луна, напоминая большую яичницу. Значит, так и не поел досыта Леонид, так и пронес сквозь весь день неутоленный аппетит просторного мужского тела двадцати восьми лет от роду.

Ровно в час ночи он подъехал к дому, в котором родился, рос и где кормил соскою дочерей своих. Ровно в час ночи. А это означает, что Павликовский Леонид, артист, между прочим, драматического направления, провел в заботах и трудах ровно восемнадцать часов.

Завтра с утра не забыть погонять Ленку по математике, взвинтить ее ответственность перед концом четверти. Позвонить в редакцию к Зерчавкину, вырвать хоть часа два на переделку статьи. Оговорить с Тамарой, куда девать детей в каникулы. Взяла бы отпуск за свой счет. То есть за его счет, разумеется. Да, перевод задерживается. Но завтра выплата в Филармонии. В феврале было восемь... так, значит, десять концертов к оплате. Восемью десять — восемьдесят рублей, семьдесят шесть примерно на руки. Тамарка просила на туфли.

Квартира теплая, приветливая. У Тамары — огонек, читает. Раздеться и, чтобы не хрустела обертка, аккуратно за спиною внести букет в комнату. Нет, не читает. Лежит с обиженной миной на запрокинутом к люстре восхитительном лице.

— А позвольте украсить хижину тети Томы!

Цветы летят по назначению. Жена взвизгнула, ожила. Вот они, слабые струны слабого пола. Беззащитны женщины перед лицом нашего малейшего знака внимания.

— Чертик черноголовый, беспамятный мужик, вспомнил наконец?

И тут его осенило. Трижды она намекает на что-то особенное, сегодняшнее, взывает к его памяти, обижается...

— Глупая формалистка. Да я ни разу и не забывал. Просто следил, как ты, ты...

— Иди, ври больше! Знаем, не протреплемся. С утра такой клочкастый был. Из театра тоже звоночек праздничный: «Где была, с кем ходила?». Да и сам до часу ночи неизвестно где...

— Известно! Вот значок студенты прикрепили, денежкой наградили единовременной! Солнышко, а кормить в день торжества кто меня будет?

— Известно кто — Пушкин!

— Ошибка! В день свадьбы кричат: «Горький! Горький!»

Десять минут совершенно необъективных, но взаимных объятий.

Час десять. Кухня. Ужин с вином и мясом. Съедая в день триста граммов мяса — предпочтительно оленьего или телячьего,— вы всю жизнь будете сухи, поджары, веселы и деловиты. Так говорят американцы, но они нам не указ, как сказано в одной песне.

— Самоубийцы эти актеры, ночью жрут, как лошади!

— Да-да, Томик, это страшно. А воду из-под крана разве не опасно? А дышать черным, вонючим воздухом?

— Ну, поехап. Я про ночную еду, а ты еще диалектический материализм вспомни.

— За такие неженские сказки лишаю тебя скупой мужской ласки.

Двадцать пять минут второго, потом два часа ночи. Пошел двадцатый час забот и трудов, радостей и грусти обыкновенного рабочего дня Павликовского Леонида Алексеевича, драматического актера, между прочим. Он лежит на своей отдельной тахте и в руке держит томик стихов, а на плече его непробудно локоится нежноголовая примета семейного счастья. Горит настольная лампа. Леонид, чтобы крелче уснуть, должен читать. Лучше всего под музыку. Под музыку Вивальди... Вот.

Служенье муз не терпит суеты,
Прекрасное должно быть величаво..

Все. Спать. «На свете счастья нет, но есть покой и воля...» Отличная вещь — локой. Особенно под музыку. «Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди». Вот что: цепый день, оказывается, сопровождали его эти строки стихов старого друга Сашки.

Сядем послезавтра провожать Димку, и я тебе, Саша, скажу, как твои строчки сопровождали меня в один лрекрасный день. А ты, поэт, меланхолически пролоешь в ответ:

Под музыку Вивальди —
Внвальди! Вивальдн! —
под музыку Вивальди,
под вьюгу за окном,
печалиться давайте —
давайте, давайте! —
печалиться давайте
об этом и о том.
...Вы слышите, как жалко —
как жалко! как жалко! —
вы слышите, как жалко
и безнадежно как! —
заплакали синьоры, их жены и служанки,
собаки на лежанках и дети на руках.
И стало иам так ясно —
так ясно! так ясно! —
что на дворе ненастно,
как на сердце у нас,
что жизнь была напрасна,
что жизнь была прекрасна,
что все мы будем счастливы
когда-нибудь, бог даст!
И только ты молчала, молчала... молчала...
И головой качала любви печальной в такт.
А после говорила: поставьте все сначала!
Мы все начнем сначала,
любимый мой ..
Итак...

...Итак, он едет в вагоне метро и листает книжку стихов. А тут настулает очередная станция. И время двадцать минут какого-то. Двери раздвигаются. Весьма знакомая старушка с грустью лротискивается в вагон метро и остается стоять. Старушка, не мигая, смотрит; рядом с нею образуется целый как бы коллектив старушек и стариков. Вагон метро начинает трясти, почва неровная, ухабы. Старушки стоят. Старики надвигаются...

Потом сцена, он выходит перед лубликой, говорит первые слова Осипу... Ужас, он намертво забыл текст. Да, так часто бывает во сне. Суфлер шепчет, нарочно закрыв себе рот рукою. Что говорить? Осип (друг, Кулич) хохочет навзрыд и сбегает за кулисы. Зрители свистят, тетя Лиза встает с третьего ряда и очень тихо, но очень слышно заявляет: «Маме звони, маме!»

— Что тебе надобно, Леня? — спрашивает мама.

— Ма, мне бы билетиков ларочку на «Океан», на «Ревизора» и на...

— Сделаем! — вместо мамы громко отвечает директор магазина и в шутку затевает дуэль на шпагах. Только шпага — это батон колченой колбасы за 5 р. 60 кол. килограмм.

— Неужели вы успеваете пить чай? — изумился корреспондент, держа ларик Хлестакова в одной руке, а другою отгоняя Тину Иванну, жену главрежа.— Вы мешаете, вы же в кадре...

— А ну вас! — сорвался Леонид Алексеевич. — Надоело все к чертовой матери! — Он оторвал Верочку от магнитофона, лодхватил, она смеялась... Потом они бежали по черным переулкам. Потом целовались прямо за углом сцены, рискуя попасться на глаза. Леонид рвал все предрассудки и не гпядел на часы. Вокруг царствовал зеленый кустарник. Он сладко колыхался и благоухал.

— Послешай не торолясь,— шелотом заметила Верочка.

Но он уже оттолкнул ее, ибо на крыше сидели обе его дочери. А жена Тамара там же готовила и ужин и остальные вещи.

— Куда отправлять детей летом, ума не приложу! — не то советовалась, не то лросто напевала Тамара.

— Московское время — двадцать одна минута...— лрозвучало над головой.

— Ленька, чертик, не даешь дослушать логоду! Сколько сказали? Двадцать минут чего?

Дети при этом рисовали мелом на чем-то черном. А, на лапином пиджаке. Не забыть бы альбом для рисования купить...

— От кого ты так бежишь, в последний раз спрашиваю! — добивался отец, раскладывая старые письма. Он нежно вынимал их из полевой сумки, эти желтеющие листья фронтовой перелиски.— От кого ты так убегаешь, я долго буду долытываться?

— Стихи Владимира Маяковского лрочтет Леонид Павликовский!

Буря аллодисментов. Двадцать три минуты какого-то. Вверху царили сосны, солнце и мяч. Надо бить.

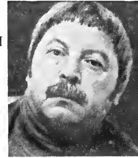
Он снова, как в детстве, взмыл над волейбольной площадкой, над улруго натянутой сеткой... Телерь он видел всех. Его дети ели желтые апельсины прямо с кожурой. Это было замечательно красиво. А над Москвой опускался вечер. И Москва была самым близким городом — и детством, и былью, и театром Леонида...

Мы все иачнем сначала,
любимый мой...
Итак:
под музыку Внвальдн —
Вивальди! Внвальдн! —
под музыку Вивальди,
под славный клавесин,
под скрипок переливы
и вьюги завыванье
условимся друг друга
любить что было сил!

Книжка стихов выпала из спящих рук и раскрылась на лолу. Тетя Лиза откашлялась в своей комнате, дети чмокнули во сне, жена Тамара повернулась на бок, обнажила слину и выбросила из-лод одеяла голую ногу; все спали, кажется, спап весь мир, все дела и заботы Леонида Павликовского. Слокойной ночи, вернее, спокойного дня ипи, как любит говорить отец: извините, что без скандала обошлось.

Юрий Левитанский

СТИХИ



✪

Уже меня не исключить
из этих лет, из той войны.
Уже меня не излечить
от той зимы, от тех снегов.

И с той землей, и с той зимой
уже меня не разлучить
до тех снегов, где вам уже
моих следов не различить.

✪

Что-то случилось, нас все покидают.
Старые дружбы, как листья, опали.
...Что-то тарелки давно не летают.
Снежные люди куда-то пропали.

А ведь летали над нами, летали.
А ведь кружили по снегу, кружили.
Добрые феи над нами витали.
Добрые ангелы с нами дружили.

Добрые ангелы, что ж вас не видно!
Добрые феи, мне вас не хватает!
Все-таки это ужасно обидно —
знать, что никто над тобой не летает.

...Лучик зеленый звезды на рассвете,
красной планеты ночное сиянье.
Как мне без вас одиноко на свете,
о недоступные мне марсиане!

Снежные люди, ну что же вы, где вы,
о белоснежные нежные девы!
Дайте мне руки, раскройте объятья,
о мои бедные сестры и братья!

...Грустно прощаемся с детскими снами.
Вымыслы наши прощаются с нами.
Крыльев не слышно уже за спиною.
Робот храпит у меня за стеною.

✪

Когда в душе разлад,
строка не удается:
строке передается
разлаженность души.

Пока разлад в душе,
пока громам не стихнуть,
не пробуйте достигнуть
гармонии в стихе.

Тут нужен лад иной,
нужны иные меры —
старинные размеры
тут вряд ли подойдут.

Попробуйте забыть
о ямбе и хорее
и перейти скорее
к свободному стиху.

Попробуйте сменить
те горные стремнины
на вольные равнины
свободного стиха.

Пускай он грубоват
и даже разухабист,
но дактиль и анапест
пока вам не нужны.

Лишь он сейчас для вас
былина и баллада,
и музыке разлада
в нем дышится легко.

В нем есть простор душе,
он волен и раскован,
хоть кажется рискован
свободный этот лад.

Но нет, здесь риска нет
и никакой угрозы,
и в час, когда все грозы
над вами отшумят,

когда утихнет гром
и тучи разойдутся,
вы сможете вернуться
к тем далям вековым,

к тем далям снеговым,
к тем неоглядным высям,
чей воздух независим
от воздуха долин.

Там даль лежит в снегах,
там ямб медноголосый,
как бог светловолосый,
рокочет в облаках.

Он весело звенит.
Он презирает скуку.
Он краткую разлуку
легко вам извинит.

Человек, строящий воздушные замки

Он лежит на траве
под сосной,
на поляне лесной,
и, прищурив глаза,
неотрывно глядит в небеса —
не мешайте ему,
он занят,
он строит,
он строит воздушные замки.

Галереи и арки,
балконы и башни,
плафоны,
колонны,
липоны,
пилястры,
рококо и барокко,
ампир
и черты современного стиля,
и при всем —
совершенство пропорций,
изящество линий
и какое богатство фантазии,
выдумки,
вкуса!

На лугу,
на речном берегу,
при луне,
в тишине,
на душистой копне,
он лежит на спине
и, прищурив глаза,
неотрывно глядит в небеса —
не мешайте,
он занят,
он строит,
он строит воздушные замки,
он весь в небесах,
в облаках,
в синеве,
еще масса идей у него в голове,
конструктивных решений
и планов,
он уже целый город воздвигнуть готов,
даже сто городов —
заходите,
когда захотите,
берите,
живите!

Он лежит на спине,
на дощатом своем топчане,
и во сне,
закрывая глаза,
все равно продолжает глядеть в небеса,
потому что не может не строить
своих фантастических зданий.
Жаль, конечно,
что жить в этих зданьях воздушных,
увы, невозможно
ни мне, и ни вам,
ни ему самому,
никому,
ну, а все же,
а все же,
я думаю,
нам не хватало бы в жизни чего-то
и было бы нам неуютней на свете,
если б не эти
невидимые сооруженья
из податливой глины
воображенья,
из железобетонных конструкций
энтузиазма,
из огнем обожженных кирпичиков
бескорыстья
и леска,
золотого песка простодушья —
когда бы не он,
человек,
строящий воздушные замки.

✪

Говорили — ладно, потерпи,
время — оно быстро пролетит.

Пролетело.

Говорили — ничего, пройдет,
станет понемногу заживать.

Заживало.

Станет понемногу заживать,
буйною травой зарастать.

Зарастало.

Время лучше всяких лекарей,
время твою душу исцелит.

Исцелило.

Ну и ладно, вот и хорошо,
смотришь — и забылось наконец.

Не забылось.

В памяти осталось — просто в щель,
как зверек, забилось.

✪

Весеннего леса каприччо,
капризы весеннего сна,
и ночь за окошком, как притча,
чья тайная суть неясна.

Ах, странная эта задача,
где что-то скрывается под
из области детского плача,
из области женских забот,

где смутно мерещится что-то,
страшащее нас неспроста,
из области устного счета
хотя бы сначала до ста,

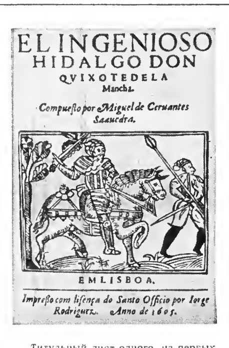
из области школьной цифири,
что вскоре нам душу проест,
и музыки, скрытой в эфире,
и в мире, лежащем окрест.

Ах, лучше давайте забудем,
как тягостна та благодать.
Давайте сегодня не будем
на гуще кофейной гадать.

Пусть леса таинственный абрис,
к окну подступая чуть свет,
нам будет нашептывать адрес,
подсказывать верный ответ —

давайте не слушать подсказок
всех этих проныр и пролаз
из тайного общества сказок,
где сплетни плетутся про нас.

Пусть тайною тайна пребудет.
Пусть капля на ветке дрожит.
И пусть себе будет что будет,
уж раз ему быть надлежит.


EL INGENIOSO
HIDALGO DON
QVIXOTE DE LA
Mancha.
Compueſto por Miguel de Ceruantes
Saauedra.
EM LISBOA.
Impreſſo com liſença do Santo Officio por Iorge
Rodriguez. Anno de 1605.

Титульный лист одного из первых изданий «Дон Кихота».

«Дон Кихот».
Рисунок О. ДОМЬЕ.

Виктор
ШКЛОВСКИЙ

ЧЕТЫРЕЖДЫ ЗОЛОТОЙ ВЕК

Очень мало книг, время чтения которых, живого, всенародного чтения, продолжалось бы несколько столетий. Иногда книги исчезают из всенародного чтения и потом вновь оживают.

Бывало, жизнь книги поддерживалась религиозной традицией, но книг для чтения, которые поддерживались бы интересом к основному герою, совсем мало.

Когда я начинаю об этом думать, то первое, что приходит в голову, это «Дон Кихот». Не только произведение Сервантеса, но герой произведения и слуга его. Они идут по путям человечества.

Книга, написанная как пародия, создала новый тип эпоса. «Дон Кихот» — это начало реального романа, в этом романе люди рождаются, знакомятся, переживают бедствия, разочаровываются.

Мир героев освещает неправую идею, несправедливую жизнь.

«Дон Кихот» в сокращенном виде на время стал только детской книгой; над детской книгой с измененными именами, с упрощенными отношениями между героями плакал Гейне. Эти слезы помнил великий человек всю долгую жизнь; он помнил врагов Дон Кихота, хотел восстановить славу рыцаря, который сам себя называл Рыцарем Печального Образа.

В романе Сервантеса самоуверенный Самсон Карраско выбивает Дон Кихота из седла и заставляет его принять решение прекратить смену подвигов, совершаемых рыцарем во имя славы Дульсинеи Тобосской. Эта героиня рыцарского романа, самая известная и самая безукоризненная из женщин рыцарских романов.

Дон Кихот никогда не изменял ей, но он почти и не знал ее, он слыхал только, что она в игре бросает железную палку-копье дальше всех.

Рисунок Пабло ПИКАССО.

Рисунок Ф. ШАЛЯПИНА.

Сам же он во дворце герцога говорит, что не знает о том, существует или не существует эта чемпионка бросания копья.

Рыцарский мир для Дон Кихота — это не тот мир, которым увлекались читатели времени Сервантеса, он отменил тот мир.

Человечество получило печатный станок. Печать создала возможность самого чтения как общественного акта.

Да, все люди, с которыми встречается Дон Кихот, являются читателями рыцарских романов.

На постоялом дворе, в котором хитрый трактирщик пародийно посвящает Дон Кихота в рыцари и дает ему несколько советов,— в этом доме мелких жуликов все читают бесчисленные для того времени рыцарские романы.

Их было так много, что для того, чтобы составить себе библиотеку рыцарских романов, рыцарь продал несколько десятин пахотной земли, а земля, годная для пахоты, в Испании была дорогой.

Люди смеются над Дон Кихотом, но верят рыцарским романам. Эти романы являются для читателей XVII века тем же, чем для нашего времени фантастические романы или детективы.

Это рассказы о невероятном. Качество этих романов все время ухудшалось, но временами они становились основой для высокой пародии, и эти пародии, как, например, история безумного рыцаря Роланда, сменяя друг друга, становились все лучше и лучше.

Сервантес сам писал про книгу Ариосто «Неистовый Роланд», что если он найдет ее и обнаружится, что она «...говорит не на своем родном, а на чужом языке, то я не почувствую к нему (к рыцарю.— В. Ш.) никакого уважения, если же на своем языке, то я возложу ее себе на главу».

Книга Ариосто священна для Сервантеса.

Ее отзвуки мы видим в ранней поэме Пушкина «Руслан и Людмила», но книга Сервантеса ближе к нам, чем книга Ариосто, хотя нам приходится читать ее в переводе.

Изо всех героев романа Дон Кихот — единственный человек, верящий в действительность, созданную искусством.

Роман начинается пародийными посвящениями. Герои рыцарских романов восхваляют Дон Кихота. Знаменитая лошадь одного из рыцарей восхваляет Росинанта. Женщины, имена которых прославляли рыцари, прославляют Дульсинею Тобосскую.

Роман начат с улыбкой.

Дон Кихот едет в неумело починенном шлеме под жгучим солнцем, и Сервантес пишет, «...что если бы в голове у Дон Кихота еще оставался мозг, то растопился бы неминуемо».

Дон Кихот пародийно влюблен, он бредит чужими словами, он нагромождает нелепости одну на другую.

Но есть сила у искусства, есть сила у мечты. В воспоминаниях о рыцарских подвигах, о времени, когда не было еще больших армий, когда война решалась одними храбростью и убеждениями,— все это создало романтическое воспоминание об ушедшем рыцарстве.

Цикл сказаний о рыцарях «Круглого Стола» связан с именем короля Артура, но подвиги рыцарей превышают славу короля.

Это слава дружины, равенство членов которой подчеркнуто тем, что они сидят за столом, у которого места не имеют степени сравнения. Был старый обычай местничества, были почетные места, и по мере удаления от хозяина места как бы понижались. Люди занимали свое место за столом прави-

теля и на основании записей требовали таких же мест для своих потомков. Царь в России мог пожаловать землей, золотом, но не местом. Место обозначалось славой предков.

Рыцари «Круглого Стола» часто гордятся своим происхождением, но в то же время их происхождение носит в себе печать сомнительности: человек считает, что произошел от короля, но это только кажется его матери. Король уже умер, а колдун Мерлин подослал в спальню королевы другого человека в образе покойного короля.

В легендах о рыцарстве сохранилось представление о равенстве дружинников.

На окраинах России с древних времен жили бродники — люди, покинувшие свои старые места, ушедшие на завоевание целины. В тех местах, где побывали бродники, потом появились казаки. Казачество имело своих старшин, но управлялось казачьим кругом. «Круглого Стола» у донских казаков не было, но не было и местничества, и добыча распределялась на кругу.

Стенька Разин как бы герой рыцарского романа, недописанного историей.

Существовала мысль о свободной земле, о земле без изгороди. Эта мысль оставалась в мифах. Герои мифов были людьми, а не богами, они возвышались подвигами. Мифы превращались в книги.

Великий поэт Овидий написал книгу «Метаморфозы». В этой книге есть глава «Золотой век».

Дон Кихот не только сражался с мельницами, не только носил шлем с картонным забралом, он мечтал о Золотом веке.

Однажды Дон Кихот в тени дубов встретился с козопасами — с пастухами. Шесть пастухов сидели на овчинах кругом, Дон Кихоту как старшему — ему было лет 50 — церемонно указали место на перевернутом корыте. И тогда Дон Кихот произнес речь:

« — Дабы ты уразумел, Санчо, сколь благодетельно учреждение, странствующим рыцарством именуемое, и что те, кто так или иначе этому делу служит, в кратчайший срок и в любую минуту могут снискать всеобщее уважение и почет, я хочу посадить тебя рядом с собой среди этих добрых людей, и мы будем с тобою как равный с равным,— я, твой господин и природный сеньор, и ты, мой оруженосец,— будем есть с одной тарелки и пить из одного сосуда, ибо о странствующем рыцарстве можно сказать то же, что обыкновенно говорят о любви: оно все на свете уравнивает».

Как равные в кругу сидели Дон Кихот, Санчо Панса и козопасы.

Дон Кихот говорит о времени, когда не существовало еще двух слов: «твое» и «мое». Речь кончается такими словами:

«Вы приютили меня, не зная, я непритворную воздаю вам хвалу за непритворное ваше радушие».

Дон Кихот хочет восстановить Золотой век. Санчо Пансе он обещает королевство или по крайней мере остров. Для себя не желает ничего.

Книга «Дон Кихот» и характер Дон Кихота были задуманы как пародия. Дон Кихот ошибочно считает себя доном; он идальго, бедняк, унавоживающий свои поля пометом голубей.

И голубь дополняет в воскресные дни его обед как жаркое.

Сервантес писал о бедном, запутавшемся человеке, о плохих романах, об изъеденных молью идеалах. Он боролся с плохой литературой, но в ней был посыл литературы великой, была мечта о крупных чувствах и о равенстве.

Но книги умнее людей, которые их пишут; они проекты, они действительность, подчиненная воле человека, который ее изображает.

Когда-то я писал работу «Как сделан Дон Кихот» и пытался показать, как из книги о плутишке Пикаро Лазарилье и из рассказа о человеке, который начитался бредней, был сделан роман.

Но есть другой вопрос, для чего живет роман Сервантеса сейчас, что мы в нем видим и в нем ценим?

Столкновение идей и картин построило мир героя, мир рыцаря, который со слабым оружием, в старой кирасе, имея на голове медный таз для бритья, пошел на двух львов, и львы от него отступились.

Санчо Панса, слуга Дон Кихота, говорил, что его хозяин не безумец — он «дерзновенен».

Сервантес — Дон Кихот — гуманист, он видел войну, он находился в жесточайшем плену, потом сидел в долговой тюрьме, узнал позор нищеты, отчаяние человека, у которого нет шелковой нитки для того, чтобы починить свои чулки.

Во дворце герцога над нищетой рыцаря будут смеяться. Может быть, так смеялись над нищетой и неудачами Сервантеса. Он обиняками вводил свою биографию по кускам в роман.

Прошли века, рассыпались великие монархии, погибло величие Испании. Но живет дух народа, мечта народа, великая мечта о свободе и достоинстве человека.

Нам стыдно за человечество, за то, что у великого, хотя и смешного Дон Кихота нет шелка, нет шелковой нитки, хотя бы черного цвета для починки зеленых порваных чулок.

Проходят века, прошли века ветряных мельниц, века паровозов, пройдут и века самолетов.

Живы язык, живы идеалы, мечты.

Филдинг, Диккенс прошли путями романа Сервантеса.

Человек, который от нас отделен только веком — Достоевский,— в письмах Мышкина пытается повторить и прояснить образ Дон Кихота, сняв с лица рыцаря забрало неудачника, забрало из картона, которое только мешает видеть, но не защищает.

Достоевский — мечтатель, ученик Фурье и Сен-Симона, утопист, надеющийся, что романы могут освободить человечество. Достоевский ставит историю Дон Кихота во главе истории человечества.

Дон Кихот — герой не только романа Сервантеса, но герой армии всего человечества, наступающего на нищету и страх,— вырастает во втором томе эпопеи.

Духовник издевается над Дон Кихотом во дворце герцога. Но рыцарь не обижен; он спокоен и ироничен, он говорит о том, что со священником нельзя сражаться, и поэтому все оскорбления, которые тот может нанести, подобны оскорблениям слабой женщины. Женщины в то время не сражались.

Если нет защиты мнений, если нет права на жертву или права жертвовать, то он не может нанести оскорбление.

Маяковский — великий рыцарь мечты — опережал время, предсказывая величие поэзии, у которой техника будет целовать «мозолистые руки»...

Убыстряется время, изменяется оружие, и в руках Дон Кихота Сервантеса оказывается книга Сервантеса. А Пушкин называл книгопечатание артиллерией нового времени.

Гений человечества, научный гений познал мир, овладел оружием, и он любит, а не только жалеет рыцаря некрепкого сложения, образованного человека того времени, целомудренного и страстного рыцаря, аскета. Рыцаря Дон Кихота.

Евгений
ЕВТУШЕНКО

ГЕНИЙ ВЫШЕ ЖАНРА

К 70-летию со дня рождения Д. ШОСТАКОВИЧА

Композитор может быть только композитором, художник — только художником, писатель — только писателем, и если они не допускают нарушения законов профессионализма и нравственности, впрочем, на мой взгляд, неразделимых, то в лучшем случае тем не менее остаются лишь честными мастерами. Гений выше ремесла. Произведения честных мастеров могут прожить иногда долго, но лишь как достояния определенного жанра. Гений выше жанра.

Творчество гения перерастает рамки даже сферы искусства в целом и становится частью национального и мирового достояния, включающего в себя весь исторический опыт прошлого вместе с первой попыткой недочеловека встать с четверенек и стать человеком, вместе со всеми войнами и революциями, вместе со всеми личными и общественными трагедиями, вместе со всеми слезами, кровью, вместе со всеми мучительными поисками веры, надежды, любви, вместе со всеми великими поражениями и победами. Равель принадлежит только музыке, Утрилло — только живописи, Фет — только поэзии, и честь и хвала им за достойное служение их музам. Но Бетховен, Пикассо, Пушкин принадлежат не только своим музам, а истории. Принадлежность истории не означает неверности музам, а символизирует высшую, гениальную степень этой верности.

Когда-то Александр Межиров написал: «Рыдали яростно, навзрыд одной и той же страсти ради на полустанке — инвалид и Шостакович — в Ленинграде». Рыдание инвалида, искалеченного войной, и мощное эхо трагической и победительной симфонии, отдавшейся своими раскатами во всем человечестве, по праву поставлены рядом именно как явления истории. Эта симфония Шостаковича не была его л и ч н о й победой, она стала победой выстоявшего, не сдавшегося народа, и в победное знамя над Берлином были невидимыми нитями вплетены ее звуки.

С Шостаковичем произошло редкостное чудо: уже при его жизни всем было понятно, что он гений. Надо ли, однако, искусственно ретушировать его портрет, и особенно исторический фон этого портрета, с недостойной застенчивостью представляя дело так, будто его жизнь была гладкой дорогой, усыпанной только розами? В том и сила гения, что он умеет подняться над обидами и даже из своих страданий выковывает музыку. Талант Шостаковича по-пушкински всеобъемлющ: он был мастером камерного лиризма, утонченным философом (вспомним хотя бы его 14-ю симфонию на тему смерти и бессмертия), был едким сатириком (его блистательная ранняя импровизация на тему заявлений жильцов коммунальной квартиры друг на друга или музыка к спектаклю «Клоп»), был звонким, неповторимым песенником («Не спи, вставай кудрявая»), был могучим оперным эпиком и даже не гнушался попытками создать легкую, искрящуюся оперетту, хотя здесь его, на мой взгляд, ожидали неудачи. Но все это объединено той связующей силой исторического сцепления, которая и делает творчество принадлежностью не жанра, а истории.

Гражданственность — это вовсе не декларация о любви к Родине, а то врожденное, неубиваемое никакими обидами и даже, наоборот, укрепляющееся под ударами противников чувство времени, как части вечности. Гражданственность не трепотня о народе, а работа-непрерывка во имя народа. Такова была вся жизнь Шостаковича. Его не увели от гражданственности ни оскорбления, ни всемирная слава. Гений проходит испытания и холодной и горячей водой, но это лишь процесс духовного закаливания. Те, кто поддается трудностям или попадается на крючок с ядовитым червячком славы, умирают при жизни. Те, кто преодолевает это, преодолевают и смерть после смерти. Шостакович умел не замечать своей славы, а если и радовался успеху своих произведений, то это была радость не за самого себя, а радость за своих детей, которые самостоятельно идут по жизни, уже отдельно от него.

Когда я впервые познакомился с Шостаковичем, я был поражен его необыкновенной скромностью и непоказной, а природной стеснительностью. В 1963 году раздался телефонный звонок. Подошла моя жена. «Галина Семеновна? Простите, мы с вами незнакомы, это говорит Шостакович... Скажите, пожалуйста, Евгений Александрович дома?» «Дома. Работает. Сейчас я его позову». «Работает? Зачем же его отрывать? Я могу позвонить и в другое время, когда ему будет удобно...» В этом был весь Шостакович. Гений истинный уважает творческий труд любого товарища по профессии. Великий Шостакович, повторяю, поразил меня этим непоказным, природным даром равенства перед трудом...

Я подошел к телефону, естественно, взволнованный. Шостакович смущенно и сбивчиво сказал мне, что хочет написать «одну штуку» на мои стихи, и попросил у меня на это разрешения. (! — Е. Е.) Нечего и говорить, как я был счастлив уже одному тому, что он прочел мои стихи. Но, несмотря на свое счастье, я все-таки очень сомневался, тревожился, даже дергался, когда через месяц он пригласил меня к себе домой послушать то, что написал.

Впрочем, дергался и Шостакович. У него уже тогда болела рука, играть ему было трудно. Меня потрясло то, как он нервничает, как он заранее оправдывается передо мной и за больную руку и за пло-

Д. Д. Шостакович и Евг. Евтушенко.
Фото В. МАСТЮКОВА.

хой голос. Шостакович поставил на пюпитр клавир, на котором было написано «13-я симфония», и стал играть и петь. К сожалению, это не было никем записано, а пел он тоже гениально — голос у него был никакой, с каким-то странным дребезжанием, как будто что-то было сломано внутри голоса, но зато исполненный неповторимой, не то что внутренней, а почти потусторонней силы.

Шостакович кончил играть, не спрашивая ничего, быстро повел меня к накрытому столу, судорожно опрокинул одну за другой две рюмки водки и только потом спросил: «Ну как?»

В «13-й симфонии» меня ошеломило прежде всего то, что если бы я (полный музыкальный невежда, пострадавший когда-то от неизвестного мне медведя) вдруг прозрел слухом, то написал бы абсолютно такую же музыку. Более того, прочтение Шостаковичем моих стихов было настолько интонационно и смыслово точным, что, казалось, он невидимкой был внутри меня, когда я писал эти стихи, и сочинял музыку одновременно с рождением строк. Меня ошеломило и то, что он соединил в этой симфонии стихи, казалось бы, совершенно несоединимые: реквиемность «Бабьего яра» с публицистическим выходом в конце и щемящую простенькую интонацию стихов о женщинах, стоящих в очереди, ретроспекцию всем памятных страхов с залихватскими интонациями «Юмора» и «Карьеры».

Когда была премьера симфонии, на протяжении 50 минут со слушателями происходило нечто очень редкое: они и плакали, и смеялись, и улыбались, и задумывались. Ничтоже сумняшеся, я все-таки сделал одно замечание Шостаковичу: конец симфонии мне показался слишком нейтральным, слишком выходящим за пределы текста. Дурак тогда я был и понял только впоследствии, как нужен был такой конец именно потому, что этого-то и недоставало в стихах — выхода к океанской, поднявшейся над суетой и треволнениями преходящего, вечной гармонии жизни. Точно так же Шостакович написал и «Казнь Степана Разина» — иной музыки я и представить не могу. Однажды в США я даже выдержал бой с композитором Бернстайном, недооценившим эту музыку. В Бернстайне, я думаю, тогда прорвалось что-то слишком «композиторское», слишком профессиональное. Искушенность профессионализма иногда мешает воспринимать искусство первозданным чувством.

Во время работы над «Степаном Разиным» Дмитрий Дмитриевич иногда неожиданно начинал мучиться, звонил мне: «А как вы думаете, Евгений Александрович, Разин был хорошим человеком? Все-таки он людей убивал, много кровушки невинной пустил...» Шостаковичу очень нравилась другая глава из «Братской ГЭС» — «Ярмарка в Симбирске»; он говорил, что это в чистом виде оратория, хотел написать, но какие-то сомнения не позволяли. Между прочим, на композицию всей поэмы «Братская ГЭС», построенную именно по принципу, казалось бы, несоединимого, я бы никогда не решился, если бы мне не придала смелости «13-я симфония». Таким образом, Дмитрий Дмитриевич оказался крестным отцом этой поэмы. Шостакович предложил мне создать новую симфонию на тему «Муки совести». Из этого получилось, к сожалению, только мое стихотворение, ему и посвященное. Задумывали мы и оперу на тему «Иван-дурак», но не успелось. Шостакович был в расцвете своих сил, когда смерть оборвала его жизнь.

Ушел не только великий композитор, но и великий человек. Как трогательно предупредителен он был, узнавая о чьей-то беде, болезни, безденежье. Скольким композиторам он помог не только своей музыкой, но и своей поддержкой! Гений выше и такого нелучшего жанра человеческого поведения, как зависть. Говоря об одном композиторе, Шостакович вздохнул однажды: «Подловат душонкой... А как жаль! Такое музыкальное дарование!..» Сразу всплыло: «гений и злодейство две вещи несовместные». Дарование может быть, к несчастью, и у подлеца, а вот гениальности он уже сам себя лишает. Из современных иностранных композиторов Шостакович очень любил Бенжамина Бриттена и дружил с ним. Однажды мы слушали вдвоем «Военный реквием» Бриттена, и Шостакович судорожно ломал пальцы: так он плакал — руками.

Шостакович был не только великим композитором, но и великим слушателем и великим читателем. Он знал превосходно не только классическую литературу, но и современную, жадно следил за всем самым главным в прозе, поэзии и каким-то особенным чутьем умел находить это самое главное среди потока серости и спекуляции. Он был непримирим в своих застольных суждениях о конъюнктурщине, трусости, подхалимстве так же откровенно, как и был добр и нежен ко всему талантливому. К сожалению, насколько мне нравились эти его суждения, настолько мне не нравились те места в его статьях, которые написаны формально и совершенно бесстрастно в отличие от его музыки. Я однажды упрекнул за это Дмитрия Дмитриевича. Он был человек совестливый, беспощадный к себе и признал, что я прав. «Но зато в музыке я ни разу не подписал ни одной ноты, которую бы я не думал... Может быть, мне хотя бы за это простится...» Не ошибавшихся людей нет, но надо находить в себе смелость, как Шостакович, хотя бы перед самим собой осудить свои слабости. А ведь некоторые люди не только не умеют заглянуть внутрь себя оком справедливого же-

стокого судьи, но и пытаются выдать свои слабости за убеждения.

Шостакович рассказывал мне, как во время работы над музыкой к спектаклю «Клоп» он впервые встретился с Маяковским. Маяковский был тогда в плохом, взнервленном настроении, от этого держался с вызывающей надменностью и протянул юному композитору два пальца. Шостакович, несмотря на весь пиэтет перед великим поэтом, все-таки не сдался и протянул ему в ответ один палец. Тогда Маяковский дружелюбно расхохотался и протянул ему полную пятерню: «Ты далеко пойдешь, Шостакович...»

Маяковский оказался прав.

Шостакович с нами, в нас, но он уже и не только с нами, он уже далеко — в завтрашней музыке, в завтрашней истории, в завтрашнем человечестве.

ТРАГИКОМЕДИИ ГЕОРГИЯ ДАНЕЛИЯ

Беспристрастный кинопрокат подтверждает: одна из самых популярных кинокартин года — «Афоня», кинокомедия режиссера Г. Данелия по сценарию А. Бородянского. Знаю, что количество просмотревших — еще не критерий. Но тут успех заслужен. И говорит он не только о бесспорном, давно признанном таланте Г. Данелия, но, по-моему, и о рождении на наших глазах весьма перспективного направления в кинематографе — жанра трагикомедии. При учете индивидуальностей, весьма несхожих, к этому жанру можно отнести целый ряд отличных фильмов нашего кино: «Берегись автомобиля» Э. Рязанова, его же недавнюю картину «Ирония судьбы...», «Начало» Г. Панфилова, «Листопад» и «Жил певчий дрозд» О. Иоселиани, почти все работы Г. Данелия. О последних и речь.

Трагикомедия не оставляет места чистому развлечению. Как бы ни хохотали мы над ловкой проделкой Короля и Герцога («Совсем пропащий»), льющих крокодиловы слезы на похоронах Уилкса, нет-нет, да и покажет камера нам лица истинно потрясенных смертью близкого человека членов семьи. И тогда свет, атмосфера, звуки — настороженные, тревожные — возвращают нас к пониманию серьезности жизни, неподдельности чувства скорби. Именно этот фон и делает возможным постоянное сопоставление истинного и ложного, искреннего и поддельного в человеческих отношениях.

На этой «колеблющейся» гамме чувств и построена трагикомедия. Тут не бывает только смешного или только грустного. Главная задача камеры — охватить жизнь в целом, в переходах от внешней стороны жизни к внутренней, что, по-моему, особенно свойственно этому жанру, подчинить главному комедийные детали. Вспомним великолепную сцену поминок по живому Левану («Не горюй!»), в которой так правдиво и страшно передано забытье живых, которые на минуту почувствовали ту радость, какая привычна за пиршеским столом, и забыли, что это тризна, хоть и по присутствующему здесь другу... И как осветил прекрасный наш оператор В. Юсов эти лица, как приблизил их, только что смеявшиеся, а теперь искаженные стыдом и раскаянием, смущением и робостью!..

В трагикомедии рядом не только смешное и грустное, но и великое и малое. Они связаны незримыми нитями. И средоточие их — человек. Личность. Не нужно думать, что Г. Данелия решает менее важные задачи воспитания, чем автор какого-нибудь «панорамного» фильма, где действуют массы, героические фигуры или выдающиеся персонажи истории. И там и тут возможны удачи и поражения. Не в жанрах дело — в таланте. В скромных и, казалось, частных «случаях» Г. Данелия решает задачи долговременные и важные. Только индивидуальность его как художника такова, что наделен он даром видеть личное, простое, предельно близкое многим людям. И в этой частице солнца, которую несет его очень доброе искусство, столько энергии, что она способна согреть миллионы сердец.

Жанр трагикомедии позволяет художнику воплощать жизнь в ее разнообразии, живом единстве, естественности. Помнится, как восхищались мы фильмами Чаплина, потом — итальянских «неореалистов»... Оказалось с годами, что многие черты этого течения в мировом кино нашли свое продолжение и развитие в новых, в том числе и национальных, обстоятельствах.

Я думаю, что Г. Данелия шел к жанру трагикомедии уже давно. Однако и внутри этого жанра он обладает особыми признаками дарования неповторимого. Что это за черты?

Уже в «Я шагаю по Москве» были эпизоды лирической грусти, в которых как бы ничего особенного и не происходило, но было ощущение брожения чувств молодого героя. И оно сливалось с музыкой и изображением, создавая тот колорит смешения легкости и тревоги, покоя и скрытого драматизма события, которые и создавали неповторимую данелиевскую атмосферу — музыкальную не по жанру, а по ритму настроения... Но в том фильме побеждала легкость комедии.

Торжествует жанр в наиболее цельном, по-моему, фильме Г. Данелия «Не горюй!». Здесь режиссер нашел очень близкого ему и талантливого сценариста Р. Габриадзе. Обилие жизненно полнокровных характеров и картин действительности, глубокий конфликт социального значения, органическое соответствие ролей исполнителям — все это предопределило гармоническое произведение искусства, подлинную трагикомедию, где нельзя ничего ни прибавить, ни убавить.

Трагикомическое в фильмах Г. Данелия — наиболее перспективная линия в его творческом становлении, она, мне кажется, обещает еще многие открытия режиссера на этом пути.

Одновременно это и плодотворный путь нашего кино, в котором документальная основа, лиризм и здоровая народная стихия смеха сливаются в полнокровное и неистужное повествование о жизни, какая она есть и какой ей надлежит быть.

Владимир ОГНЕВ

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

Роман Инги Петкевич «Большие песочные часы» («Советский писатель», Л., 1975) знакомит нас с интересной писательской индивидуальностью. Его действие происходит в среде молодой технической интеллигенции, но могло бы происходить сегодня везде, где моральные ценности ежедневно проверяются на прочность человеческим о б щ е ж и т и е м.

«В центре романа,— сказано в издательской аннотации,— проблемы взаимоотношений личности и коллектива. Разоблачение и неизбежный крах индивидуализма убедительно демонстрирует судьба молодого инженера Поленова. Автор вводит нас в мир острых ситуаций, неожиданных поступков, резко и своеобразно очерченных характеров».

Что касается своеобразно и резко очерченных характеров, неожиданных поступков и острых ситуаций — с этим, пожалуй, можно согласиться. Гораздо сложнее обстоит дело с «проблемами взаимоотношений личности и коллектива». Разоблачением Поленова тут не отделаться.

Инга Петкевич пишет умно, жестко, по-мужски. Ее взгляд лишен как сентиментальной расплывчатости, так и плоской однозначности, он подобен линзе, направленной на нравственную нетвердость, неотчетливость самых обыденных наших поступков, страстей, переживаний. Но это отнюдь не сатира нравов, п р я м ы х воспитательных задач такая проза себе не ставит, она и с с л е д у е т, ставит диагноз и уже этим вернее достигает нашего внутреннего зрения. Вот маленький коллектив конструкторского бюро научно-исследовательского института, вот два главных героя, чьи сложные взаимоотношения составляют сюжетный и психологический нерв книги. Поначалу действительно кажется, что суть конфликта — в столкновении коллективиста Гаврилова, от лица которого идет повествование, и индивидуалиста Поленова, то и дело попирающего элементарные нормы порядочности. Однако все не так просто. Поленов, подобно камню, брошенному в стоячую, слегка заболоченную воду, взрывает привычную обыденность институтской жизни и заставляет каждого из персонажей романа по-новому взглянуть на себя и окружающих. Конечно, эксцентрический эгоизм Поленова виден невооруженным глазом, конечно, он терпит «неизбежный крах», как сказано в аннотации, но разве радует Гаврилова эта победа, разве не приходит к нему в финале горькое понимание, что и его, казалось бы, такие выверенные нравственные постулаты есть, в сущности, тоже фикция, до тех пор пока они не вырастают до п о с т у п к а, а не остаются рефлексией, успокаивающей совесть. «Я вертел в руках песочные часы. Время струилось золотой змейкой... Жизнь продолжалась... Еще не поздно было подучиться правильно дышать... и видеть... и слышать... и любить». Так заканчивается эта притча о коллективе и личности, созданная в слегка остраненной, условной манере и заставляющая читателя задуматься о предметах глубоких и важных.

Каждый из нас еще имеет время остановиться и заглянуть в собственную душу, чтобы лучше увидеть и понять людей, близких и дальних. И только часы нельзя остановить, большие песочные часы жизни.

Евгений
СИДОРОВ

ИСПОВЕДЬ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА

«Трудное счастье...». Я что-то вдруг засомневался, так ли уж бесспорно проверенное это словосочетание. Труден бывает путь к счастью — это так. Даже мучительно труден. А само счастье — легкое. Радостное. На то оно и счастье.

Ничуть не претендую на всеобщность этого соображения; это прежде всего впечатление от книги Юлия Крелина «Письмо сыну», изданное «Детской литературой»,— одной из тех книг, что насущно ПРАКТИЧЕСКИ важны для юноши, выбирающего профессию.

Однако Крелин как будто бы несколько странно помогает этому «витязю на распутье». Он хирург, для которого его дело — жизнь, любовь, призвание, счастье, не уговаривает, не подталкивает, не завлекает в хирургию.

Вроде бы даже наоборот.

Он пересказывает разговор с десятиклассницей, признавшейся, что больше всего на свете любит музыку, но пойдет в медицину. Отчего? Оттого, что ей больно видеть: многие девочки из ее класса близоруки, «очкарики». Больно думать, что медики в этом отношении пока мало успели.

З. ШЕЙНИС

МИССИЯ ЯНА БЕРЗИНА

Документальное повествование

«Среди первых советских дипломатов находились Г. В. Чичерин, Л. Б. Красин, В. В. Воровский, Я. А. Берзин, М. М. Литвинов, А. М. Коллонтай, В. Р. Менжинский, Д. З. Мануильский и другие видные партийные и советские работники. Советские дипломаты, как бойцы на фронтах гражданской войны, с революционной самоотверженностью боролись за наше великое дело и подчас, как бойцы, погибали на своих постах[1]».

Двадцать второго октября 1918 года около двух часов дня к пароходной пристани у-ротного города Лугано в южной Швейцарии подошел средних лет мужчина в темном пальто и такого же цвета шляпе. Вместе с ним была женщина и семилетний мальчик.

Не задерживаясь на пристани, все трое направились в сторону мостков, к которым были привязаны прогулочные лодки. Мужчина подхватил на руки мальчика и шагнул в лодку. Вслед за ними туда прошла женщина и уселась за руль.

В это время к пристани причалил небольшой пароходик и начал медленно швартоваться. Пристально вглядываясь в лицо человека, стоявшего на палубе парохода и наблюдавшего за швартовкой, мужчина в лодке все не садился на весла.

— Мосье Доманский, почему мы не отчаливаем? — спросила по-французски женщина в лодке.

Словно не слыша обращенного к нему вопроса, Доманский продолжал разглядывать человека на палубе. Тот поймал взгляд Доманского, пожал плечами, как бы уверяя себя в нелепости промелькнувшей мысли, сошел на пристань и исчез в толпе.

— Что с вами? — спросила женщина, понизив голос; в ее глазах промелькнула острая тревога. Не отвечая, Доманский налег на весла. Лодка понеслась вперед.— Что случилось? — повторила свой вопрос женщина.— Кто этот человек?

Доманский, помолчав, сказал:

— Это мой старый знакомый.

— Но кто он?

— Локкарт.

— Локкарт? Не может быть. Вы не ошиблись?

— Нет. Ошибка исключается.

— Что же вы намерены делать? — спросила женщина.

— Что делать? А вот что: когда отходит из Лугано вечерний поезд в Берн?

— Двадцать минут восьмого.

— Прекрасно.

— Вы хотите сказать, что мы уезжаем сегодня, а не завтра? Так я вас поняла?

— Да, Софи, именно сегодня... но у нас еще есть время, и мы славно покатаемся. После прогулки пообедаем, отправимся в отель, я соберу вещи, а вы пойдете на почту и отправите телеграмму. Когда наш поезд должен прийти в Берн?

— В семь утра.

— Очень хорошо. Так и сообщите: «Берн, Швансенгассе, 4, Русскому послу Яну Берзину. Буду первым утренним поездом». И подпишите свое имя...

[1] Из доклада А. А. Громыко 29 декабря 1967 года в Кремлевском Дворце съездов на торжественном собрании, посвященном 50-летию советской дипломатической службы.

Тот, с кем мосье Доманский едва не столкнулся на пристани озера Лугаво, действительно был Локкарт, английский дипломат, один из главных организаторов заговора иностранных послов, пытавшихся уничтожить правительство Ленина и покончить с Советской властью. Заговор был раскрыт, Локкарт арестован, и его допрашивал Феликс Эдмундович Дзержинский.

Локкарта должны были судить. Но тотчас после его разоблачения и ареста советскими органами английские власти, не прикрываясь никакими доводами, арестовали народного посла Советской России в Лондоне Максима Максимовича Литвинова. Его бросили за решетку тюрьмы Брикстон и на двери камеры повесили табличку: «Пленник Его Величества».

Тогдашним, и без того слабым связям Советской России с внешним миром арест Литвинова наносил серьезный ущерб. Ленин предложил обменять Локкарта на Литвинова. Английское правительство согласилось. Было договорено: Локкарта отправят на границу, и пересечет он ее лишь тогда, когда в Москву поступит сообщение, что Литвинов выехал из Англии и находится уже в Норвегии, откуда направится в Советскую Россию.

Однако в Москве не знали, что Локкарт после отъезда из России окажется не в Лондоне, а в Лугано.

Но кто такой мосье Доманский?

Наберись, дорогой читатель, терпения и перенесись мысленно в прошлое, в первые месяцы революционной России.

Одним из первых шагов Советской власти на другой день после победы Октябрьской революции был Декрет о мире. В этом декрете правительство рабочих и крестьян России обратилось к народам и правительствам всех воюющих стран с предложением немедленно начать переговоры о справедливом демократическом мире — мире без аннексий и контрибуций. Однако империалистические державы не желали и думать о прекращении мировой бойни. Лишь Германия, зажатая между двумя фронтами, пошла на мирные переговоры с Россией. Переговоры начались в Брест-Литовске. Троцкисты и прочие сторонники так называемой «революционной войны» сорвали установившееся было перемирие. Немцы продолжали военные действия, захватили Двинск и начали наступать на Украину. Перед кайзеровскими дивизиями лежала, в сущности, безоружная страна.

Бывшие союзники царской России готовили заговоры против молодой Советской власти. В один из дней февраля, поздно вечером, к особняку американского посольства в Петрограде подъехали грузовики. На них спешно погрузили имущество. Весь состав американского посольства во главе с послом Фрэнсисом выехал в Вологду. Вслед за ним демонстративно оставили Петроград посольства Англии, Франции и других «союзных» стран. Отъезд иностранных дипломатов из Петрограда означал, что стала еще большей внешнеполитическая изоляция Советской России. Со дня на день ожидалась фронтальная интервенция империалистических держав.

Положение осложнялось еще и тем, что были полностью прерваны связи с революционными социалистами Запада, а в то же время правые социалисты ряда стран готовили свою конференцию. В противовес ей была предпринята попытка срочно созвать международную конференцию левых социалистов — за ее созыв высказались представители ряда левых партий Запада. В качестве одного из условий предстоящего совещания было выставлено требование поддержки Октябрьской революции в России.

И вот тогда, в феврале 1918 года, было решено направить в Швецию для участия в этой конференции делегацию ВЦИК — с тем, чтобы она потом отправилась в Англию и Францию. Это позволило бы рассказать народам правду о России и об Октябрьской революции.

Главой советской делегации Ленин предложил назначить Коллонтай. Александра Михайловна была хорошо известна всей партии и пользовалась большой популярностью за границей.

Позже она писала в журнале «Пролетарская революция»: «В феврале 1918 года в качестве члена русской делегации вместе с товарищами Натансоном, Берзиным и др. пытались проникнуть в Швецию».

Марк Андреевич Натансон (партийный псевдоним Бобров) принадлежал к старой когорте русских революционеров. Он родился в середине прошлого века, был участником Первого Интернационала. В девятнадцатилетнем возрасте вместе с молодым помещиком Николаем Чайковским Натансон организовал революционный кружок, но вскоре был арестован и выслан в Архангельскую губернию, где провел пять лет. В 1876 году он создал новую конспиративную организацию и с группой ближайших друзей совершил налет на тюрьму, где томился его друг и соратник по кружку «чайковцев» князь Петр Алексеевич Кропоткин. Кропоткина удалось освободить. Натансон помог ему бежать за границу. Сам же, оставшись в России, стал одним из основателей «Земли и воли», а после раскола этой партии — народовольцем. Был арестован, отправлен на каторгу в Восточную Сибирь, где провел десять лет. Вернулся, продолжил борьбу, был заключен в Петропавловскую крепость и затем снова сослан в Сибирь. Когда в России была создана партия социалистов-революционеров (эсеров), Натансон вошел в ее Центральный комитет, был на Циммервальдской конференции, где поддержал программу Ленина. После революции Натансон был избран членом Президиума ВЦИК.

А теперь познакомимся с Яном Антоновичем Берзиным, которому мосье Доманский направил телеграмму в Берн.

4 июня 1929 года по просьбе Института Ленина Ян Берзин (Зиемелис) написал свою автобиографию: «Я родился в 1881 году в Фегенской волости... Родители — латышские крестьяне-середняки. Рано, в возрасте 6 или 7 лет, начал работать в отцовском хозяйстве, сначала пастухом, потом фактически батраком. Учился (в зимние месяцы) в Цирстенской волости, потом в Старо-Пебальском приходском училище. Впоследствии удалось поступить в учительскую семинарию в Риге. По окончании последней два года был сельским учителем».

В тот же июньский день Ян Берзин заполнил анкету для старых большевиков. Было ему тогда сорок семь лет, из которых двадцать семь он находился в рядах большевистской партии, вступив в нее в 1902 году. Ответы Берзина кратки:

«— Какова ваша основная профессия, заработок, средства существования?

Ответ. Дипломат, журналист, получаю партмаксимум.

— Были ли в тюрьмах и ссылке?

Ответ. В тюрьме три раза (в 1903, 1904, 1905—1906 годах). В административной ссылке в Олонецкой губернии в 1904—1905 годах.

— Был ли в эмиграции?

Петроград, февраль 1918 года. Проводы делегации ВЦИК. В центре — А. М. Коллонтай.

Ответ. С 1908 по 1917-й в Цюрихе, Париже, Брюсселе, Лондоне, Бостоне, Нью-Йорке.

— Работаете ли вы и теперь в интересах Советского государства?

Ответ. Член ЦК КП(б) Украины.

— Чем можно улучшить не только ваше здоровье, но и ваши способности к борьбе за наши идеалы?»

На этот вопрос Ян Берзин не ответил; о своем здоровье он не любил говорить.

В состав делегации, возглавляемой А. М. Коллонтай, входили также два финских коммуниста. Одним из них был Аллан Валлениус.

Швед по национальности, Аллан Валлениус родился в 1890 году на острове Чимито. Окончил классический шведский лицей в Або, ныне Турку, учился в Гельсингфорсском университете и там вступил в социал-демократический молодежный союз. Сотрудничал в рабочей печати, писал стихи. После завершения образования работал в городской библиотеке.

После Октября 1917 года Аллана назначили комиссаром почт и телеграфа города Або. В январе 1918 года финские коммунисты послали его в Скандинавию рассказать о русском Октябре. Он приехал в Стокгольм, оттуда пробрался в Северную Норвегию, выступал на митингах. Его выслали. На шхуне Аллан добрался до Мурманска, приехал в Петроград. Здесь ему сообщили, что ЦК большевистской партии предлагает отправиться с делегацией ВЦИК в Западную Европу.

Аллан молча кивнул головой, написал в тот же вечер своей невесте Алисе, что, возможно, по дороге в Швецию сделает остановку на Аландских островах, где она живет, и тогда они увидятся.

17 февраля делегация ВЦИК на небольшом пароходе выехала из Петрограда. Ледокол пробил дорогу, вывел судно на просторы Финского залива, и оно взяло курс на Швецию.

Днем делегация собралась в каюте Александры Михайловны. «Старый каторжанин» Натансон взял на себя обязанности каптенармуса — поровну разделил буханку хлеба, каждому дал по тараньке. Чай удалось раздобыть на матросской кухне.

К вечеру второго дня плавания ударил сильный мороз. Разводья покрылись слоем льда. Несколько лет спустя Коллонтай писала в журнале «Пролетарская революция»: «Пароход наш попал на ледяное поле, был затерт льдинами, дал течь. Пришлось искать спасения на Аландских островах, где чуть не попали в руки финских белогвардейцев и немцев, и оттуда бежали. Попавшийся им в руки член нашей делегации, финский товарищ был тут же расстрелян...»

Делегация решила пробиваться дальше, но сделать это можно было только через несколько дней, если судовой команде удастся своими силами заделать пробоину.

До 2 марта 1918 года, когда на Аландские острова прибыл шведский батальон, в порту Мариенхамин хозяйничали белогвардейцы. Это крайне осложияло положение делегации. Формально пароход пользовался своеобразной экстерриториальностью. Пока члены делегации находились на пароходе, их не трогали. Как только они спустятся на берег, их арестуют.

Время тянулось медленно и тоскливо. В один из вечеров с борта парохода на берег тайно спустился Аллан Валлениус: он решил отправиться к Алисе, которая жила неподалеку в небольшом городке. Разыскал возницу, который согласился отвезти его за два десятка верст, и они помчались через пустынное безбрежное поле сквозь пургу.

В это время к побережью из города, что за Мариенхамином, летели другие сани. В этот город дошел слух, что где-то поблизости стоит пароход с русски-

ми. Алиса решила: возможно, на этом пароходе находится Аллан.

В порту Мариенхамина у причала стоял пароход. На палубе прогуливался матрос. Алиса умоляюще приложила руки к груди, спросила, есть ли на борту иностранцы, кажется, они русские. Матрос пожал плечами: если девушке это очень важно, он может позвать кого-нибудь из пассажиров.

На палубу поднялся Ян Берзин, увидел у причала девушку, молча ушел и позвал Коллонтай. Александра Михайловна подошла к борту, пристально посмотрела на Алису, спросила:

— Что вам нужно?

— Вы шведка? — спросила Алиса, услышав родную речь.

— Нет, милая.

— Нет ли у вас на борту Аллана Валлениуса?

— Кто вы, девушка? — спросила Коллонтай.

— Я Алиса, невеста Аллана... Может быть, он здесь.

Александре Михайловне очень хотелось сказать, что Аллан Валлениус мчится сейчас на санях к Алисе и, может быть, он уже там и ждет ее. Но она не имела права сказать это. И, еще раз взглянув на Алису, она ответила:

— Милая девушка, вы что-то напутали, не там, где надо, ищете своего жениха. Нет здесь никакого Валлениуса.

Возвратившись домой, Алиса узнала, что к ней приезжал какой-то парень в тулупе, но когда ему сказали, что Алисы нет дома, он себя не назвал...

Лишь через два года, когда Валлениус уже работал в Стокгольме в коммунистической газете «Фолькетс дагблад политикен», Алиса приехала к нему с Аландских островов, и они поженились.

В последних числах февраля делегация ВЦИК покинула судно. На рыбачьей лодке удалось пройти несколько километров. Дальше кончались разводья. Лед казался прочным, морозы сковали море. Решили продолжить путь пешком. До Стокгольма оставалось около 150 километров, а до ближайшего пункта на побережье, города Харгсхамна, около 100 километров. И они пошли. Пурга рвала с них одежду, сбивала с ног, леденила кровь. А они все шли вперед.

Кончились продукты. Обессиленным путешественникам пришлось вернуться в Мариенхамин.

К этому времени, после прибытия шведского батальона, положение изменилось. Теперь можно было пережидать до окончания ремонта парохода, поселиться в гостинице Мариенхамина. Но и здесь покоя не было. Шведские солдаты получили приказ «ревизовать» чемоданы некоторых членов делегации. Об этом пишет в своей книге, вышедшей в 1965 году в Стокгольме, бывший начальник штаба обороны Швеции Карл-Август Эренсверд (он в марте 1918 года командовал шведским батальоном, прибывшим на Аландские острова):

«Уходя с чемоданами, стуча сапогами, солдаты подняли шум. Мадам Коллонтай, красивая и рассерженная, открыла дверь в своей комнате гостиницы. Полагая, что мы хотим забрать дипломатический багаж делегации, она запротестовала, закончив свой протест следующими словами: «Как это понять? Это война между Швецией и Россией? Если еще нет войны, то она может начаться...»

...Много лет спустя, когда мадам Коллонтай была послом в Стокгольме, а я начальником штаба обороны я был приглашен в Советское посольство на прием и оказался за столом рядом с Коллонтай. Я напомнил об эпизоде на Аландских островах. Коллонтай от души посмеялась над своей угрозой по поводу войны».

В начале марта ремонт парохода был закончен. Делегация ВЦИК покинула Аландские острова и 10 марта возвратилась в Петроград. Ян Антонович позже констатировал: «Делегации ВЦИК... не удалось проехать за границу, и конференция не была созвана».

Прямо из гавани Александра Михайловна и ее друзья направились в Смольный. Там шли последние приготовления к отъезду: на Николаевский вокзал увозили ящики с документами. В ночь на 11 марта 1918 года Советское правительство выехало из Петрограда в Москву.

НУЖНЫ КРЕПКИЕ ПАРНИ

Тем временем положение Советской России оставалось крайне сложным. Необходимо было наладить контакты с Западной Европой, хотя не было серьезных надежд, что империалистические правительства признают правительство большевиков. Значит, надо было, добиваясь признания де-факто, послать в какую-либо из стран Европы официальную государственную миссию. Вопрос этот обсуждался в ЦК и Совнаркоме, и 10 апреля 1918 года председатель Совнаркома В. И. Ленин (Ульянов) подписал решение о назначении Яна Антоновича Берзина Полномочным представителем Советской России в Швейцарской Республике.

Разумеется, Ленин не случайно остановил свой выбор на Швейцарии. 21 января 1925 года, в первую годовщину кончины Владимира Ильича, Ян Антонович поделился на страницах «Правды» своими воспоминаниями о Ленине в связи с работой в Швейцарии. Он писал:

«Перед отъездом в Швейцарию я имел много разговоров о предстоящей там работе, и от Ленина я получил все инструкции по поводу нее. Владимир Ильич... придавал чрезвычайное значение работе информационного характера и был уверен, что именно Швейцария является тем местом, откуда можно будет знакомить страны Запада со всем, что происходит у нас, в России. Все его советы относились главным образом к этой стороне нашей работы. При этом он не переставал повторять:

— Нужно работать так, чтобы вас не могли обвинить в пропаганде. В Швейцарии как-никак свобода и демократия, там мы всегда находили приют, будучи эмигрантами, и свободно издавали свои органы. Там не может быть легальных препятствий для интервью в газеты, для статей, для издания брошюр о России и т. д.».

Еще до официального решения Совнаркома Берзин начал готовиться к отъезду. Посоветовался со Свердловым о будущем составе Миссии.

— Ваши предложения? — спросил Яков Михайлович.

— Нужны крепкие парни. Аллана Валлениуса прошу включить в состав миссии. Помогите подобрать смелых ребят.

Фактическим заместителем Берзина был Григорий Львович Шкловский. Член РСДРП с 1898 года, политэмигрант с 1909 года, Шкловский жил в Швейцарии, входил в Бернскую секцию большевиков. Вернулся в Россию после Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года и был участником Октября.

Одним из ближайших сотрудников Берзина стал Алексей Сергеевич Черных. Он родился в 1892 году в Сибири, где находились в ссылке его родители. Учился в Московском университете на юридическом факультете, принимал участие в студенческой революционной организации, был исключен из университета, потом снова возвратился туда. Но так и не окончил его: революция захватила молодого большевика, а о дипломах тогда не думали.

Самый молодой сотрудник Берзина Морис Лейтейзен родился в семье профессионального революционера-большевика Гавриила Лейтейзена (Линдова), которого близко знал Ленин. После февраля 1917 года студент-медик Морис Лейтейзен по поручению Московского окружного комитета партии большевиков выступал на рабочих собраниях в Туле, разъясняя позицию ленинской партии. В апреле на митинге в Петровском парке в Туле он закончил свою речь призывом: «Долой войну!» Проходивший в это время полк был по приказу офицеров остановлен, и солдаты набросились на большевистского оратора. Его спасли рабочие патронного завода. Митинг продолжался. После Октября Мориса направили на дипломатическую работу.

Секретарем-машинисткой миссии назначили Любовь Николаевну Покровскую, жену известного историка Михаила Николаевича Покровского.

Берзин понимал, что в Швейцарии он столкнется с чрезвычайными трудностями. Понадобится величайшее терпение и такт, чтобы их преодолеть, и тут не обойтись без помощи швейцарских друзей-интернационалистов. Особенно будет необходима помощь и опыт человека, который уже в те годы стал искренним и бесстрашным другом революционной России. Но прежде чем назвать его имя, необходимо обратиться к событиям, предшествовавшим поездке Берзина в Швейцарию.

14 января 1918 года Ленин выступал в здании Михайловского манежа в Петрограде перед первым батальоном Красной Армии, который отправлялся на фронт. Машина, в которой Ленин возвращался в Смольный, была обстреляна. Пуля, посланная бывшим царским офицером Ушаковым, не попала в Ленина, его прикрыл своим телом находившийся в машине человек. Это был Фриц Платтен, швейцарский коммунист, незадолго до этого приехавший в Петроград.

Сын столяра-краснодеревщика из кантона Сант-Галлен, Фриц Платтен уже в начале нашего века связал свою судьбу с революционным движением России. В дни революции 1905 года он находился в Риге, где принимал участие в боях против царского режима.

Человек яркой индивидуальности, он стал одним из популярнейших лидеров швейцарской социал-демократии, близко сошелся с русской большевистской эмиграцией в Швейцарии, участвовал в Циммервальдской конференции, где без колебаний поддержал большевиков. Платтен организовал переезд Ленина и всей первой группы большевиков-эмигрантов из Швейцарии в Россию в апреле 1917 года. А в апреле 1918 года, находясь в Швейцарии, Фриц Платтен начал подготовлять почву для прибытия советской миссии.

Опытный и тонкий политик, Платтен знал о симпатиях своего народа к русским. Швейцарцы много лет наблюдали жизнь русской революционной эмиграции. Высокие моральные качества этих людей, их любовь к угнетенной России, их борьба за социальную справедливость и равноправие всех народов, скромность и бескорыстие, разносторонняя образованность, интеллигентность снискали глубокое уважение швейцарцев. И для них эти качества с особой силой и яркостью фокусировались в личности Владимира Ильича Ленина, долгие годы жившего в Швейцарии.

Именно в те годы Владимир Ильич познакомился с Фрицем Платтеном и другими крупными деятелями швейцарской социал-демократии, с руководящими социал-демократами других стран, наезжавшими в Швейцарию. На этих людей опирался Фриц Платтен, готовя приезд советской миссии. На этих людей должен был опираться и Берзин во время своей деятельности в Швейцарии.

Швейцарское правительство отказывалось признать Советскую Россию, пока она не будет признана великими державами. Это крайне затрудняло отправку миссии. Тем не менее в начале мая Берзин и его сотрудники выехали в Швейцарию.

На перроне Александровского (ныне Белорусского) вокзала собрались участники и друзья этой еще не признанной миссии, которой предстояло проехать через пространства, где еще шла война. Михаил Николаевич Покровский, провожавший жену, бодрился, шутил, кричал ей через окно:

— Выпей там за меня чашечку кофе. Я забыл, какой у него вкус.

Наконец поезд тронулся и, набирая скорость, скрылся между заржавленными, разбитыми вагонами, заполнявшими станционные пути.

17 мая, после краткой остановки в Берлине, Берзин и его сотрудники прибыли в Берн.

Перрон был пуст, но невдалеке стояла группа людей, и Берзин сразу узнал среди них Фрица Платтена. Он издали делал успокоительные жесты: дескать, все в порядке, не волнуйтесь.

Берзина и его сотрудников тепло приветствовал Платтен. Ян Антонович передал ему привет от Ленина. Все уже хотели садиться в такси, заботливо заказанное Платтеном, но прибежал сапожник Каммерер, на квартире которого в 1915 году жил Ленин, и снова начались приветствия и расспросы.

— Как там живет господин Ульянов? — и все уговаривал: — Вы придете ко мне, и я вам покажу комнату, которую он занимал. А теперь он живет в Кремле. Воображаю, какие там у него комнаты...

Полицейский молча наблюдал сцену встречи, всем своим видом давая понять, что не следует задерживаться. Наконец все расселись по машинам, и через несколько минут комнаты гостиницы «Левен» на одной из тихих улиц Берна огласились русской речью.

В БЕРНЕ

Владимир Ильич с нетерпением ждал вестей от Берзина. 2 июня 1918 года Ленин послал с курьером в Швейцарию свою первую записку:

Тов. Берзину
или Шкловскому.
Дорогие друзья! Удивляюсь, что от Вас до сих пор ни звука...
...Жду вестей.

Ваш Ленин».

Ян Антонович передал с курьером ответную записку Ленину, но обстоятельного письма пока не писал. Он хотел осмотреться, ознакомиться с обстановкой в Швейцарии, попристальнее взглянуть из «швейцарского окошечка» на Европу, почерпнуть побольше информации, а затем уже написать Ленину.

Постепенно, шаг за шагом, первое советское полномочное представительство в Швейцарии расширяло

свою деятельность. Берзин, как и советовал Владимир Ильич, создал «Русское информационное бюро», поручив ему издавать ежедневный бюллетень на немецком, французском и итальянском языках и публиковать в нем сообщения о положении в Советской России, декреты Советской власти и другие материалы. Руководителем Бюро и первым секретарем миссии был назначен Шкловский, а в помощники пригласили швейцарских друзей.

Вторым секретарем миссии стал Стефан Братман-Бродовский. Он был известным деятелем Социал-демократической партии Польши и Литвы (СДКП и Л), а с 1912 года секретарем Главного правления этой партии и секретарем Бюро заграничных организаций СДКП и Л, осуществлял связь с подпольным центром в Польше. После Февральской революции он остался в Цюрихе, сразу же охотно принял предложение Берзина и переехал в Берн, а вскоре к нему приехала жена Марыся с малолетним Янеком.

Положение русского полномочного представителя резко отличалось от положения дипломатов буржуазных стран. В сущности, Берзин подвергался бойкоту. После приезда он был сухо и полуофициально принят президентом. Его не приглашали на приемы и встречи. Буржуазные дипломаты разъезжали на автомобилях, у Берзина же автомобиля не было, а это немало значило для престижа. Берзин ходил пешком и лишь иногда пользовался извозчиком.

И все же он стал одной из самых популярных фигур в швейцарской столице. Его называли по-разному: «большевистский посол», «красный дипломат». Журналисты пытались добыть компрометирующие материалы о нем, но безуспешно. Всегда подтянутый, худощавый, отчего он казался выше ростом, в недорогом, но очень ладно сидевшем на нем костюме, он производил благоприятное впечатление даже на мещан, которых было хоть отбавляй в мелкобуржуазном Берне. Он появлялся в книжных магазинах, куда другие дипломаты не заглядывали, подолгу рылся в развалах букинистов; его можно было встретить в дешевом кафе за чашкой кофе, в театре и на художественной выставке.

Его родным языком был латышский, он горячо любил песни своего народа, его литературу, историю. Русским он владел безукоризненно, но говорил с легким акцентом. Немецкий знал в совершенстве, английский и французский — хорошо, немного — итальянский. В многоязычной Швейцарии все это особо ценилось, и бывший пастух из Фегенской волости и в этом смысле выглядел куда лучше иных буржуазных дипломатов княжеских и графских кровей. И в умении постоять за интересы своей страны он им тоже не уступал. Регулярно появлялся в политическом департаменте, вел деловые переговоры, предлагал наладить торговые отношения. Очень скоро он заставил уступить в одном вопросе, весьма престижном.

В центре Берна, на Шваненгассе, 4, много лет помещалось царское посольство, и к лету 1918 года там все еще находились царские чиновники, теперь именовавшиеся «представители Временного правительства»; они надеялись, что колесо истории повернется вспять.

Уже в мае Берзин начал добиваться выселения царских чиновников из здания русского посольства. С этой целью он официально ввел должность советского консула в Берне, назначил консула, и это решение опубликовал в газете Миссии «Русские новости» — «Нувель де Рюси». В Берне оказалось два консула: царский, он же представитель Керенского, которого народ сверг, и советский, который представлял правительство, официально еще не признанное швейцарскими властями. Швейцарское министерство иностранных дел оказалось перед необходимостью решать вопрос. Победил реализм: царскому чиновнику пришлось освободить помещение.

В конце 1918 года, уже возвратившись в Советскую Россию, Берзин в своем докладе сессии ВЦИК сказал по этому поводу: «Это была наша первая и наиболее крупная победа».

Вскоре после приезда Ян Антонович и его сотрудники приступили к выполнению важнейшего задания Советского правительства. В упомянутом докладе сессии ВЦИК Берзин следующим образом сказал об этом задании:

«В Швейцарии еще осталась часть русских революционеров-эмигрантов, потом в Швейцарию направлялись наши солдаты пленные из Австрии и Франции, и наша задача была — защита их интересов. Тех эмигрантов и солдат, которых могли, отправляли в Россию, и в дальнейшем принимали меры, чтобы отправить солдат, находящихся во Франции».

Невероятно трудным было это поручение Москвы. С революционными эмигрантами было сравнительно просто. Они сами всей душой стремились на родину. Но и им нужны были официальные документы, визы, материальная помощь. А денег у Берзина было крайне мало. Из Москвы поступали мизерные средства на содержание Миссии и на информационную работу. И все же Берзин, проводя жесточайший режим экономии, сумел отправить много революционеров-эмигрантов в Россию, а несколько человек оставил работать в Миссии. Кстати сказать, этим обстоятельством воспользовалась разведка Антанты, и, как читатель увидит дальше, в штат Миссии был заслан провокатор.

Труднее было с отправкой солдат. Иные из них бежали из лагерей, прибывали к Берзину голодные, оборванные, напуганные антибольшевистской пропагандой. Их надо было одеть, накормить, успокоить, разъяснить, что произошло в России в Октябре 1917 года.

В дальнейшем я введу в свое повествование документы, имеющие прямое отношение к описываемым событиям. Они помогут читателю понять, как действовал в Швейцарии Ян Берзин, как жила, работала, что переживала горстка коммунистов, оторванная от центра революции. Это письма из Швейцарии в Россию. Листочки, вернее, обрывки листочков, пережившие десятилетия, сохранились. Необходимо сказать и об авторе этих писем — человеке, о котором я упомянул лишь вскользь,— Любови Николаевне Покровской, о ее муже и об их сыне.

Дочь богатых родителей, выросшая в обстановке полного благополучия, Любовь Николаевна в двадцатилетнем возрасте, в 1898 году, ушла в революцию. Вскоре судьба свела ее с приват-доцентом Московского университета Михаилом Николаевичем Покровским, ученым-историком, профессиональным революционером-большевиком. Несколько лет спустя, в 1905 году, Покровский принимал активное участие в Московском вооруженном восстании, был избран членом Московского комитета большевиков и делегатом на V съезд партии. После возвращения в Москву Михаил Николаевич был выдан провокатором охранки, перешел на нелегальное положение и вынужден был эмигрировать из России вместе с женой и маленьким сыном Юрием.

Любовь Николаевна прекрасно владела тремя иностранными языками. Была еще одна причина, по которой Берзин предложил ей поехать в Швейцарию. В августе 1917 года Михаил Николаевич и Любовь Николаевна после десятилетнего изгнания возвратились в Россию, но сына Юрия были вынуждены оставить в Швейцарии: он был тяжело болен. Берзин знал об этом и предложил Любови Николаевне ме-

сто секретаря-машинистки. И вот ее письма, отправленные из Берна в Москву Михаилу Николаевичу Покровскому и десятилетнему сыну Юрию в швейцарский городок Лезай, где он находился в клинике доктора Роллье.

«Мишенька, милый.
Вот как проходит мой день. Утром... прихожу в посольство, распечатываю и распределяю корреспонденцию до 12. В 12 лезу на 4 этаж в нашу столовую... Тов. Соловьев (дипкурьер.— **З. Ш.**) тебе расскажет, если увидит тебя, а после, с 2-х до 5-ти, редактирую французские переводы и сама перевожу. В 6 часов вечера опять обедаем, а потом иду домой в отель «Левен» и вскоре ложусь спать, так как вставать приходится в 7 часов, а работаю я очень напряженно...»

В первых числах июня Яну Антоновичу сообщили из Москвы, что в Швейцарию приедет Натансон во главе делегации ВЦИК. О предстоящей поездке написал и Покровский, известивший Любовь Николаевну.

Натансона ждали в советской колонии с большим нетерпением.

Уже в конце мая буржуазная пресса, торжествуя, сообщила о мятеже в России сорокатысячного корпуса военнопленных чехословаков. Газеты утверждали, что дни Советов сочтены. И одно тревожное письмо за другим шло из Берна в Москву:

«Мишенька, мой родненький, что у вас там?.. о чехословаках и прочем мы тут читали с замиранием сердца, о том, как вы там голодаете, так горько думать...»

Но Москва молчала, не отвечал на письма Покровский. А Натансон все не приезжал. 23 июня Любовь Николаевна писала мужу:

«Натансон все еще до нас не доехал. Разве вот завтра в понедельник объявится».

Но ни делегация ВЦИК, ни Натансон не приехали ни в ближайший, ни в следующий понедельник — из-за задержки в Берлине. И никто тогда в Берне, в том числе и Ян Антонович, не могли себе представить, какой оборот примет поездка Натансона.

Марк Андреевич выехал из Москвы в середине июня. Медленно, то останавливаясь из-за нехватки топлива, то сутками задерживаясь на разъездах и станциях, тащился поезд на запад. А в то время в Москве вспыхнул эсеровский мятеж. Стремясь любыми средствами сорвать Брестский мир, провокаторы убили германского посла графа Мирбаха. Мятежники попытались уничтожить правительство, арестовали Дзержинского. Ленин и его революционный штаб прилагали титанические усилия, чтобы подавить мятеж, спасти Советскую власть.

А тем временем делегация ВЦИК находится в пути. И возглавляет ее не просто член Президиума ВЦИК Натансон, а член ЦК партии левых эсеров Натансон. Не причастен ли он к эсеровскому мятежу? Ведь в делегацию входят еще некоторые левые эсеры.

Берзин, Валлениус, Лейтейзен и Черных встречают делегацию на вокзале. Еще зимой, при поездке в Швецию, Натансон выглядел бодрым. Его светло-голубые глаза на розовом лице, обрамленном окладистой бородой, светились, как два маленьких озерца. Теперь из вагона вышел больной старик, и Любовь Николаевна скажет об этом с горечью в своем письме: «Бедный Натансон, он совсем уже одряхлел».

Берзин привез Натансона в посольство; старик с трудом поднялся на четвертый этаж в столовую, его окружили, забросали вопросами и все спрашивали: как «там» дела? что происходит в Питере? как живет Москва? что Владимир Ильич? Спать Натансон ушел лишь под утро, когда сотрудники посольства сами устали до изнеможения.

Марк Андреевич привез статьи Ленина, обзоры советской прессы, последние декреты Советской власти.

На следующий день, чуть поспав, забрался с Берзиным в его кабинет, передал все, что ему было поручено. И все рассказывал о Москве, о Владимире Ильиче. Наркомпрос готовит школьную реформу, и скоро дети получат новые учебники. В Москве и Питере проходят митинги и собрания. Александра Михайловна прочитала в здании бывшего дворянского собрания лекцию о будущем социализма, а Луначарский выступает иногда по три раза в день, и народ валом валит на эти лекции, хотя правду надо сказать, голодно в столице и вечерами Москва часто остается без света.

Берзин слушал Натансона и думал: если этот, уже старый и больной человек, сам пришедший к большевикам, хотя еще и не порвавший с эсерами, так верит в будущее и весь живет им, то нет такой силы, которая опрокинет дело, начатое в Октябре. Волна теплого чувства поднималась в его груди. И когда Натансон спросил, что передать в Москву Владимиру Ильичу, Берзин хотел сказать многое, но он не привык к громким и красивым словам и просто ответил:

— Передайте, что мы стараемся делать все возможное.

Натансон встретился с некоторыми лидерами социалистов и, не дав себе отдохнуть и вволю поесть после голодной Москвы, собирался через несколько дней в обратный путь. И тут пришло сообщение об эсеровском мятеже в Москве...

Медленно перечитывал Натансон сенсационные сообщения Гаваса и Рейтера. Долго молчал, погрузившись в глубокие раздумья. Потом сказал:

— Я осуждаю это злодейское преступное выступление, направленное против величайшей из революций.

Он не мог теперь ни минуты оставаться в Берне. Ян Антонович его не задерживал. Марк Андреевич выехал в Советскую Россию и в Москве уже публично осудил контрреволюционный авантюристический курс левых эсеров.

Владимир Ильич счел необходимым, чтобы ни у кого не оставалось сомнения в честности Марка Андреевича и его верности революционным идеалам. И когда в 1919 году старый революционер скончался, Ленин сказал о нем: «Натансон умер... будучи вполне близким к нам, почти солидарным с нами «революционным коммунистом»-народником».

(Окончание следует)

Филипп БОНОСКИ,
американский писатель

СИНИЕ ДЖИНСЫ

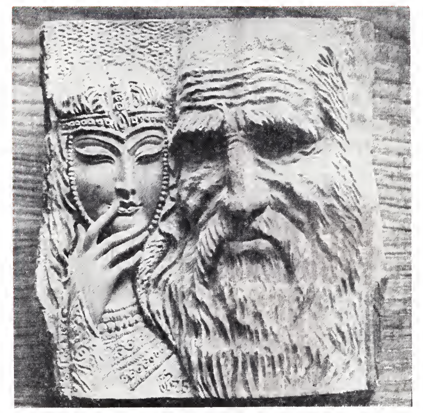
Наконец, пришло время поговорить о синих джинсах...

В детстве, которое я провел в небольшом городке сталелитейщиков возле Питсбурга в Западной Пенсильвании, у нас было две смены одежды: «школьная» — ее мы сбрасывали с себя тотчас же после возвращения из школы; и синие брюки, похожие на современные джинсы. Их мы носили «после уроков», по субботам, во время праздников и длинных летних каникул. Для нас джинсы были своего рода домом — мы жили в них. Их можно было мгновенно натянуть на себя и с такой же легкостью выскользнуть из них. Их можно было сбросить где попало и бултыхнуться в реку в жаркие летние дни. Правда, «синие джинсы» моей юности несколько отличались от современных синих джинсов. Хотя их и тогда делали из прочной холщовой синей ткани; спереди они походили на фартук, а сзади застегивались на две перекрещивающиеся лямки. С такими джинсами не надо было носить рубашки и даже нижнего белья. Это было очень кстати, потому что в те суровые, нищие времена наши матери сами шили для нас одежду из любого материала, который был под рукой. Нижнее белье наши матери обычно шили для нас, детей, из старой мешковины. В те дни в каждой семье оставалось много мешков из-под муки, потому что хлеб тогда пекли дома. Клеймо фирмы «Мука Пилсбири» не отстирывалось, и на нижнем белье всегда были видны эти унизительные слова. Летом я предпочитал обходиться без него. Боялся, что вдруг стану жертвой несчастного случая, и незнакомые люди по моему нижнему белью узнают все о моей жизни...

В детстве мы все ходили в синих джинсах, они назывались комбинезоном; летом — ничего, кроме

Рисунок М. ФЕДОРОВА.

САМШИТ И МУЗЫКА



А. ПОЧХУА. Мудрость и красота (самшит).

Кто из нас, отдыхая на черноморском побережье Кавказа, не встречал в горных ущельях тонкие, но твердые, как сталь, деревца самшита? Своей легкостью и крепостью они приводят в изумление. Мы знаем, что некоторые художники-графики применяют сегодня самшитовые дощечки для создания с помощью острого резца филигранного рисунка — торцовой гравюры. И книжные иллюстрации, выполненные способом торцовой гравюры на самшите, выдерживают большие тиражи. Но мало кому известно, что еще в конце третьего и начале второго тысячелетия до нашей эры резьба по самшиту использовалась для украшения домашней утвари и храмов. Об этом поведали нам археологи, нашедшие чудесные самшитовые рельефы при раскопках Триалетского и Самгорского курганов.

С годами камень и металл вытеснили традиционную резьбу по дереву в грузинском прикладном искусстве. Но художники — пытливый народ; почти во всех наших республиках молодые художники возрождают сейчас забытые отрасли прикладного искусства. Вот и в Грузии возрождается искусство резьбы по дереву. Одним из первых зачинателей этого дела стал артист государственного симфонического оркестра Грузии Арсен Почхуа. Почему артист, почему музыкант? Как музыкант стал художником? Помог случай. Часто бывает, что талантливый человек не может предугадать, какой из муз он раскроет свое дарование. Так случилось и с Арсеном Почхуа. Молодой оркестрант когда-то переписывал ноты для маститых «маэстро», а так как с детства он обладал даром художника, то, желая угодить своим заказчикам, вкладывал переписанные ноты в красочную обложку, им выполненную. Некоторые его обложки стали печататься в издательствах, а затем А. Почхуа приняли в союз художников — в графическую секцию. В графическом решении этих обложек Почхуа нередко имитировал старинную грузинскую резьбу по дереву. Одна из таких обложек попала в руки к народному художнику СССР Ладо Гудиашвили. Старый мастер познакомился с Арсеном Почхуа и предложил ему работать под своим руководством. Гудиашвили посоветовал Арсену не только имитировать деревянную резьбу на бумаге, но и самому взять в руки резец и попробовать создавать рельефы на настоящем дереве.

Почхуа много лет проработал вместе с Ладо Гудиашвили и, пользуясь его добрыми советами, приобрел большие познания в изобразительном искусстве. Своим материалом он избрал самшит. Но, чтобы овладеть секретом работы с таким твердым материалом, художнику тоже необходимо приобрести упорство и твердость. Гудиашвили как-то сказал о своем ученике: «...успех не так уж легко пожаловал к этому страстному художнику, которому с первых же попыток сопутствовали трудности, ибо ему суждено было осваивать неизведанную целину, приходилось без путеводителя и попутчиков, одному пробираться к верному пути, идя нехожеными тропами».

Арсен Почхуа упорно постигал тайны непокорного самшита. Ему было необходимо преодолеть не только твердость, но и хрупкость самшита, особенно в тех местах, где проступают сучки и годовые кольца дерева. Надо было самому изобретать технологию и инструмент самой высокой закалки. И вот из-под резца бывшего музыканта стали выходить превосходные рельефные женские портреты, портреты известных поэтов, философов, музыкантов, а также целые аллегорические композиции. Так стальной самшит подчинился музыканту-художнику.

Ю. ЦИШЕВСКИЙ

ИЗ РАССКАЗОВ ИОСИФА КАХИАНИ

Заслуженный мастер спорта СССР Иосиф Кахиани — одна из наиболее ярких личностей в нашем альпинизме. Знаменит целым рядом уникальных технически сложных восхождений. Рассказы Иосифа Кахиани записал Александр Берман.

Фото В. ГИППЕНРЕЙТЕРА.

Адиши — самое высокогорное селение в Сванетии, кроме Ушгури, которое выше, но ненамного. В Адиши зима начинается рано — в сентябре уже снег. Там, в доме матери, как требует сванский обычай, я и родился 16 февраля 1921 года. Когда я родился, брат моей матери, Романоз Авалиани, дал мне в руки комочек снега, чтобы я нигде и никогда не замерзал. Через три месяца Романоз поместил меня в рюкзак и отнес через перевал в Жабеши, в дом отца.

Когда мне было четырнадцать лет, Годжи Зурабиани, который наряду с Романозом считается первым сванским спасателем, взял меня на перевал Китлод, откуда нам пришлось выносить сорвавшихся с гребня украинских альпинистов. Зурабиани нравилось, как я хожу в горах, и он как-то сказал мне: «Ты будешь альпинистом».

Я стал самостоятельно тренироваться на скалах, лазил на старые сванские башни. Я так увлекался, что забывал про коз, которых пас, а козы однажды ушли в горы. Я боялся идти домой и заночевал в башне. Меня искали. В селении горели костры, я видел: люди находились в волнении. Думали, что я сорвался где-нибудь. Потом я вышел, потому что услыхал, как кто-то крикнул: «Козы вернулись, приходи домой!» А это мать догадалась так крикнуть. Меня не ругали, все говорили: «Человек жив! Человек жив!»

Уже много лет мама меня спрашивает: «Сколько тебе еще нужно одолеть вершин, чтобы получить такое звание, которое разрешает уже больше не ходить на самый верх?» И по сей день я отвечаю ей: «Мама, еще немного осталось».

Самое надежное средство транспорта в наших горах — это бык. Он всюду пройдет и протащит груз. Вот только на льду быку плохо: скользят копыта, и под все четыре ноги ему надо рубить хорошие ступени. В детстве мне не раз приходилось сопровождать быков, и однажды в крутом русле замерзшего ручья на самом краю высокого обрыва мой бык заскользил.

У меня в руках была палка с самокованым трехгранным наконечником. Бык полз к обрыву — вот-вот упадет, а я бегал вокруг по льду, как по земле, и работал очень быстро. Так я учился чувствовать лед.

Нельзя сказать, что можно любить лед. Альпинисты знают, что самое опасное — идти по льду. А часто он такой хрупкий, что одним неосторожным ударом можно сколоть большой кусок и обрушить готовые ступени — подрубить себя.

Но я чувствую себя на льду хорошо. Могу целый день идти впереди группы и, не смеясь, рубить лед. Мне однажды крикнули снизу, из второй связки: «Хватит, ты уже восемь часов рубишь лед». А я, помню, ответил: «Что восемь часов — я всю жизнь рублю его».

Самым близким моим другом был Миша Хергиани. Он был моложе меня на одиннадцать лет...

В альпинизме не принято одного возвышать над другим. В альпинизме нет прямого соревнования, но Миша занимался не только альпинизмом, но и спортивным скалолазанием, где был первым на любых соревнованиях. Много раз был чемпионом страны.

Сам я никогда не занимался спортивным скалолазанием, где соревнуются в скорости на теплых скалах, с верхней страховкой, где, допустив ошибку, не погибнешь, а будешь просто снят с соревнований. Я никогда не занимался спортивным скалолазанием, потому что прежде всего боялся, как бы этот стиль не укоренился во мне и не подвел там, где верхней страховки не будет.

Теперь иногда говорят, что Миша ходил и в горах скорее не как альпинист, а как скалолаз. Нет, Миша был альпинистом самого высокого класса. Многих смущала скорость, с которой он шел на восхождениях. Но эта скорость определялась его физическими возможностями. Да, он был очень азартен, и, что говорить, было несколько случаев, когда он повисал на страховке. У меня таких случаев не было.

Когда Миша шел со мной, он принимал мой стиль, тоже достаточно быстрый, но более надежный. Когда в паре с Мишей мы в своем темпе прошли сложнейшие маршруты на скалистых стенах Северного Уэльса, англичане поздравили нас и окрестили «Тиграми скал».

Миша верил в мою интуицию. Когда я кричал ему: «Миша, стой, прижмись!» — он так и делал. А потом удивлялся: «Как ты угадал, что пойдут камни?» Но я не могу объяснить это...

В пятьдесят седьмом году мы с Мишей прошли маршрут, который ни до этого, ни после этого никто не рискнул пройти. Мы взяли северную стену и нависающую над ней ледяную шапку Донгуз-Оруна (Центральный Кавказ).

Помню, как мы приближались к стене по ущелью, по старой донгуз-орунской тропе и все высматривали апфх — так по-свански называется жаба. А может быть, лягушка, не очень я их различаю, все они в горах худощавые и далеко прыгают. Идем по росе, и вдруг как выпрыгнет такая с длинными ногами — и на целый метр через тропу справа налево. Ну, значит, теперь будет удача. И мы запели старую сванскую песню: «Буба, буба, какучелла, буба — старый человек, выпить хочет араку для веселия души, буба, буба, какучелла...» Развеселились, идем на подъем. И постепенно — уже лес прошли, на ледник вступаем, по леднику идем — загораживает стена от нас целый мир, мы на нее смотрим, притихли.

— Вот она, Миша,— сказал я.

— Вот она, Иосиф,— сказал он,— сами к ней идем...

Под стеной, лежа в палатке, слышали, как падают камни. Знали, в палатку не попадут, но грохот проникал в душу. Тут-то мы и поняли, почему с этой ночевки многие возвращались.

Нам было тоже страшно, но мы с Мишей слишком сильно любили друг друга и стремились туда, где предстояло вместе побороться за жизнь. Не знаю, понятно я объяснил или нет? Одним словом, эта стена явилась для нас чем-то очень личным.

В работе альпинистам почти не надо говорить. Когда в Северном Уэльсе я ходил по скалам в паре с англичанином Ральфом Джоунсом, у нас не было общего языка слов. Был лишь язык веревки, но, дай бог, чтобы те, кто говорит помногу слов в минуту, понимали друг друга так, как мы с Ральфом Джоунсом молча. С Мишей мы время от времени перекликались: «Иосиф, идешь?» «Иду, Миша!»

Зато на ночевках, когда мы висели рядом, пытаясь спать, переговорили многое. И так отдыхали душой при этом, что я решил: для организма полезнее хорошо разговаривать, чем плохо спать. Миша тогда недавно женился и, помню, спрашивал меня, как сделать семейную жизнь возможно лучше? Я говорил ему, что это сложнее, чем работа на скалах, когда ты знаешь, что чем сильнее забил крюк, тем лучше для жизни...

А первую ночь мы почти всю шли. Нижний участок стены, где днем очень сильный камнепад, ночью был безопаснее.

В свете налобного фонаря выглядывал малый кусок стены, а вся она уходила во мрак. Я видел Мишин фонарь и пятно света, а иногда ничего не видел, и только веревка уходила от меня. Стук камней волновал нас в темноте: куда летят эти камни? Пока они летели мимо.

Прошло несколько часов, и первые двести метров стены утонули в темноте под нами. Теперь крутой лед вел нас влево, и я пошел первым...

Уже на рассвете мы подошли к трещине между льдом и скалой. Край льда был так исковеркан камнями, что страшно было вступать на него. Тут камни били сплошным потоком. Под таким камнепадом, который мог возобновиться каждую минуту, спасения нет. До края оставалось метра два, когда мы услышали гул. Всходило солнце. Камнепад проснулся. Мы рванулись вверх и прыгнули в тот провал, который еще минуту назад не знали, как преодолеть. На глубине трех метров был маленький мостик, за который мы зацепились. Конечно, мы увидели его прежде, чем прыгать, но что бы мы делали, не окажись там этого мостика?..

Над щелью, на фоне неба, мелькали камни и куски льда... Под нами была черная бездна. Некоторые камни, ударяясь в край трещины, залетали внутрь. Два часа мы ждали, что очередной камень угодит в нас...

— Иосиф, на войне было так же страшно? — спросил Миша.

Я сказал, что на войне было хуже. На войну я ушел добровольно. Между прочим люди, которые меня тогда спрашивали: «Зачем сам идешь на войну?»,—

чем-то похожи на тех, которые спрашивают теперь: «Зачем ты рискуешь жизнью — лезешь на эту гору?»

Мы шли по стене, сверкающей от натечного льда и снега. Мы старались обходить эти яркие пятна, но нелегко было выдержать намеченный путь. Стена влекла нас в ловушки, которые мы обходили с большим напряжением. А иногда даже на трудных участках становилось совсем легко, каждый шаг приносил успех, прочные зацепки радовали тело. Какое счастье, когда чувствуешь и применяешь свою силу!

Миша выходил вверх, а я его страховал. Надо очень напрягаться, чтобы как можно раньше почувствовать, когда случится срыв. И руки должны успеть насколько можно выбрать веревку, пока сорвавшийся падает и еще не натянул веревку, и с точностью до очень малого мгновения предчувствовать руками и телом рывок и принять его на себя, использовав всю свою силу и одновременно сохраняя мягкость.

Но я уже говорил, что при мне еще никто не срывался. Мне ребята не раз говорили: «Ты так на нас смотришь, что мы не срываемся». Конечно, человек всегда чувствует, как за ним смотрят.

Последнюю ночь мы провели под самой шапкой. Увидели маленький каменный карнизик, а под ним горизонтальную трещину и решили, что в нее забьем крючья, а головы спрячем под карнизик.

Я прицепил две лесенки, вдел в них ноги, а на коленях пристроил примус. Ничего, кроме чая, нам не хотелось. Даже мысли не появлялось о еде — так хотелось чая. Я разжег примус, поставил на него кастрюльку и привязал ее для страховки к одному из крюков, на котором висел сам. Примус привязан не был, я сжимал его коленями, и он уже начинал приятно согревать их. Пока в кастрюле растапливался снег и лед, Миша немного в стороне продолжал забивать крючья — благоустраивался. Мы уже привыкли к разным висячим положениям. Вот и сейчас так спокойно готовились к чаепитию, словно и не было под ногами зияющей пустоты. Но я уже не раз замечал в своей жизни, что стоит только ощутить покой и умиротворенность, как обязательно произойдет что-нибудь неприятное. Вот и в это мгновение на нас уже бесшумно летели глыбы льда...

Меня вдруг швырнуло куда-то в сторону; боль в плече, в ногах...

— Эрмиле-е! — услышал я Мишин крик.

Это мое сванское имя. Перед войной в Тбилиси, когда я учился в техникуме физкультуры, меня переименовали в Иосифа, и в книжке мастера спорта по гимнастике я уже был Иосифом Георгиевичем. С тех пор так и зовусь. Потом, с легкой руки английских альпинистов, я стал «мистером Джозефом». Прижилось, некоторые ребята и до сих пор меня так зовут. Вот сколько я имею имен.

Но в тот раз Миша закричал: «Эрмиле!»

Когда я начал приходить в себя, увидел, что вишу на самостраховке. Удар опрокинул меня, хотя ноги остались вдетыми в лесенки. Если бы не кастрюлька и примус, которых теперь не было, кусок льда раздробил бы мне колени.

Миша мгновенно оказался около меня и ощупал мое рассеченное плечо.

— Иосиф, как ты, Иосиф? — говорил он.

— Чай, кастрюлю — все унесло, Миша,— сказал я. Но рука, слава богу, работала.

Тем временем наступила ночь, и внизу, в долине, наши друзья уже ждали от нас условленного светового сигнала.

Там были наши учителя: заслуженные мастера спорта В. Абалаков и Н. Гусак. Из Сванетии, из-за перевала, пришли болеть за нас заслуженные мастера спорта Б. Хергиани и Г. Зурабиани. Для нас, сванов, это было большой честью.

Мы тогда никак не могли понять и все время удивлялись: почему так получилось, что такие уважаемые и знаменитые люди пришли смотреть на наше восхождение, и достойны ли мы этого?

Я помню еще многих друзей, которые ждали нас внизу, но не могу сейчас всех перечислить, потому что о каждом что-то обязательно надо рассказать.

Когда ледяной обстрел прекратился, мы не сразу пришли в себя. Это была уже третья бессонная ночь. А когда пришел в себя, я наконец вспомнил про световой сигнал. Мы зашевелились, начали разыскивать пленки и от волнения найти не могли. Мы боялись, что спасатели уже идут в темноте и рискуют из-за нас. Ракет мы не взяли ради экономии веса, рацию тоже. Сигналы подавали, поджигая куски пленки. Но я никак не мог их нашарить рукой в рюкзаке. Тогда Миша вытащил пленку из фотоаппарата, и я поджег ее.

Еще не начало светать, а мы уже собрали рюкзаки, готовясь выйти на отрицательную ледяную стену шапки Донгуз-Оруна.

Я забил в щель рядом с двумя скальными еще один ледовый крюк. Скальные крючья плоские, из мягкой, вязкой стали. Они повторяют трещину в глубине камня и заклиниваются. Ледовый крюк жесткий, четырехгранный, но он в два раза длиннее скального, а мне спокойнее, когда что-то забито очень глубоко...

Я выпустил Мишу на двух веревках. Одну он пропускал в карабины каждого из промежуточных крючьев, а другую через один. Так веревки легче идут, и было больше надежды, что одна из них останется цела, если другую перебьет глыба падающего льда.

И вот Миша подошел к многолетнему льду шапки. Лед оказался слабым.

— Нет, не держится крюк! — услышал я.

Потом он все-таки забил крюк и подвесил к нему лесенку — три ступеньки на репшнурах, взял веревки, соединяющие нас, и тоже их защелкнул в карабин. Потом на первую ступеньку лесенки поставил ногу, а я потихоньку потянул веревки, приподнимая Мишу и прижимая его ко льду.

Крюк держался. Миша переступил на вторую ступеньку, а коленом оперся на третью. Теперь забитый крюк был у него на уровне груди, а я притягивал его к нему. Тогда он начал освобождать руки и поднимать их над головой. В одной он держал крюк, а в другой айсбайль (ледоруб, совмещенный с молотком). И снова по звуку я слышал, как ненадежно заходит в лед следующий крюк...

Четыре часа длилась эта работа на слабом, нависшем над пропастью льду. Потом с каждым шагом и полушагом лед начал прочнеть. И наконец, одолев крутизну, мы ступили на снег и спокойно вышли по нему на самую вершину.

После Донгуз-Оруна мы редко ходили вместе. Миша руководил рекордными восхождениями, и я тоже. Понятно, что в одной группе не может быть двух руководителей. Мы ходили в разных ущельях, в разных горных районах. Но когда встречались и снова шли вместе, это был для нас незабываемый праздник. Я в такие минуты ясно чувствовал, что, не будь званий, значков, медалей, разрядов да и самого понятия «альпинизм», мы все равно ходили бы и ходили на вершины.

Едва мы приехали с Мишей в альплагерь Шхельда из Нальчика, где провели два дня после Донгуз-Оруна, к нам подошел начальник лагеря Шевелев:

— Ребята, хорошо, что приехали. Группа Володи Гавы гибнет на Годиль-Башкаре. Мы ничего не мо-

жем сделать: только что вериулась третья группа спасателей — стеиа обледенела. Там слышины крики, девушка кричит: «Позовите Мншу, Иосифа...»

Мы сразу вышли втроем: Миша, я и Миша Хергиани-младший, двоюродиый брат Миши, который вообще-то был старше, ио так уж звали его в альпиннизме. Нам удалось подияться на малеиькую площадку, где было четверо пострадавших. Ночью ветер сорвал их палатку — люди переохладились, веревки обледенели. Одного парня иужно было иемедлеиио спускать, что мы и сталн делать вдвоем. Миша-младший тем временем готовил к спуску остальных. Мы очень спешили. Пострадавший приходил в себя и говорил: «Не рискуйте из-за меия, я подожду...» Но ои ие выдержал спуска. Остальных нам удалось спасти.

Мы с Мпшей переживали: почему оказались в лагере так поздно?

Миого было у иас спасательиых работ. Запомиился мие случай в Чечено-Ингушетии. Зима, февраль, сиегопады. Мы шли втроем по острому гребню: два Миши и я. Мы шли по гребию спасать группу, и нам дали сигиал: «Возвращайтесь, очень опасный сиег». Мы сделали еще несколько шагов, и из-под иог ушла большая лавина. Это было страшио: казалось, весь сиег вокруг строиулся с места. Мы хорошо поиимали язык гор и остро почувствовали свое право жпть, ио мы созиавали, как хотят жить н ждут нас те, кого мы ищем.

Мы двииулись вперед, и все закрыла пурга. Потом оиа ушла, а простраиство заполиил тумаи. В тумаие тревога вселяется в душу. Тут уж иадо бороться с собой и представлять, что видишь больше, чем есть па самом деле.

Часов через пять нас как-то сразу потяиуло в каньои с очеиь опасиым сиегом на склоиах. Почему-то мы былн увереиы, что имеиио там потерявшиеся туристы.

Нам было страшио идти в тот каньон. Умом я поиимаю, что в такие моменты может возникнуть злость ва пострадавшего. Но сердцем я этого ие приму. И ни у меия, ни у тех. с кем я ходнл иа спасательиые работы, никогда не появлялось такого чувства. Но мие ииогда случалось услышать от людей со спасательиыми зиачками иа груди (спасателями я их назвать не могу) такие слова: «Вот мы нх пайдем и поколотим, чтобы ие лезли, куда не иадо». Я с такнх людей зиачок спасателя своей рукой срывал, н счастье их было, если при этом они не думалн сопротивляться. Я не стесияюсь об этом говорить, потому что тот, кто позволнл себе так угрожать потерпевшим, для мевя вие закоиа.

Когда мы в тот раз увндели пострадавших — их палатка появилась перед нами сквозь снегопад,— мы сразу почувствовали, что они живы. Чтобы их ие иапугать, мы запели по-сваиски песию, которая изызвается «Аиле». Между прочим, эта песня у иас хорошо получалась. Но иам вдруг закричали: «Кто вы такие?! Уходите! Зачем вы пришли в наш дом?!»

Оии былп иевмеияемы. Мы ничего ие моглн вм объясиить. Тогда я сказал, что мы пришли в гости, как это приинто по кавказским обычаям. Там были две девушки и одии парень. Фамвлию парня я запомиил: Булгаков. Ои ие подпускал девушек к иашей еде и протягивал нм два кусочка сахара, которые сохрапил. Мы уложили пострадавших в наши сухпе спальпые мешки, ио оип ие могли сами согреться. Тогда мы леглп с ними в мешкн н грелп пх, пелн им сваискне песии. К утру оии поияли, что мы их спасатели.

На следующий деиь каждый из пас иес одного человека иа плечах по глубокому спегу. Это было очень тяжело, но у вас в тот деиь откуда-то появилось невероятиое количество сил. Потом погода прояснилась, и маленький вертолет повис над нами...

К спасевиым мы првходили в больницу. Когда оии видели нас, очевь радовалвсь и каждый раз ве хотели, чтобы мы уходили. Расставаясь, мы сказали им, что всю жизнь будем принимать их у себя как друзей.

В шестьдесят девятом году мы с Мишей задумалп восхождеиие иа ппк Коммуиизма по самой сложной в ваших горах стеие, которою этот пик срезаи с южной стороиы от основания и почти до самой вершины. В штормовую группу входили Джокия Гугава, Джумбер Кахиаии, Томазе Боканидзе, Рома Гауташвили и мы с Мишей.

В мае мы должны былн перед вылетом на Памир пройти треиировку на Кавказе в альпипистском лагере Айлама. 10 мая мие в Терскол пришло от Миши письмо из Тбнлиси. Ов писал о делах, а потом просил у меия совета: «...Иосиф, теперь ты мие должеи дать одии совет. На время, пока будут сборы в Айламе, меия приглашают в Италию. Надо мие ехать? Коиечио, оттуда я бы привез газовые примусы, которых бы иам хватило на стеие. Можво еще оттуда привезтн кое-что из сиаряжения, очень полезного на стене. 11 мая еду в Москву по вопросам сиаряжения...»

Когда случается несчастье, часто потом говорят о предчувствии. Я не буду об этом говорить, но так получилось, что, прочтя Мишвво письмо, уже через час я был в дороге. В Нальчике подвериулась машина до Тбилиси, во, доехав до Орджоникидзе, оиа сломалась. Шофер пошел нскать запасиые детали и возвратился только утром. На Крестовый перевал подиимались медлеиио — машиия плохо тяиула... Лишь в полдеиь я оказался у Мишииого дома в Тбилнси.

— Так это ты, Иосиф? — сказала, открывая мие дверь, Мишиия жеиа Като.— А я думала, Мнша опять вериулся. Он два раза возвращался, иадеясь увидеть тебя. А теперь это ты...

Я позвоиил в аэропорт и узнал, что Миша уже улетел в Москву. Коиечио, я бы мог полететь в Москву н иайти там Мишу. Я думал об этом. Но тогда мие иадо было твердо сказать ему: «Не езди туда! Поедем сразу на Памир, и я сам буду держать твою веревку!» Но разве я мог так сказать?

Я не мог так ему сказать потому, что Слава Онищеико, с которым ои отправлялся в Италию, отличный альпинист, н потому, что Миша сам стал такнм альпинистом, что должен был быть главным в связке н старшим, а мое желанне лнчио охраиять Мишиину жизиь и всегда держать его веревку было не более чем мое желаиие... Хотя в прошлом году в августовском иомере «Юиости» мой бедный друг Олег Куваев (горько мне, что Олег, такой талантливый человек и пнсатель, тоже умер) написал обо мие такие слова: «...его опыт и нюх солдата всегда вовремя сдержнвали экспаисивиого Хергиаии...»

В Тбилвси, за два дня до отъезда, Миша встретил нашего общего друга Жору Бараташвили и сказал ему: «Оставляю большой альпиииизм. Миогое поиял, хочу передать другим; иначе, зачем ходил. Сейчас съезжу в Италию, потом сходим иа самую большую стеиу опять вместе с Иосифом, потом приiесу Илико иа родиую землю (сванский альпиинист Илико Габлиаии погиб на высоте около семи тысяч метров в Тянь-Шаие), и все...»

Ои не первый раз говорнл, что оставит большой альпиинизм. Быть сильиейшим альпиинстом — это не шутка! Миша был одним из сильиейших в мнре, и это требовало напряжения всех его сил у всех иа виду. Свериуть с этого пути он уже ие мог. И виноват ли кто-ибудь, что так бывает? Я ве зиаю...

Миша погиб в Доломитовых Альпах в Италии на стене Су-Альто. Взяли ее впервые два француза. Фамилия одного из них — Габриэль. А Мишин дядя, Габриэль Хергиани, погиб перед тем в горах — выстрелил из ружья на охоте, и лавина сошла на него. Вот Миша и попросил Славу пойти именно на Су-Альто. Я ни в чем не виню Славу (и разговора такого быть не может), но если бы я там был, то, наверно, решил бы идти на двух веревках, а две веревки сразу камень не перебьет...

Мы ждали Мишу уже на Памире, когда пришла тяжелая весть. Свернув экспедицию, вылетели в Тбилиси. Там я принял гроб Миши. Слава сопровождал его. Кое-кто пугал Славу: «Не езди в Сванетию, там тебя убьют». Пусть краснеют те, кто так говорил. Слава, конечно, поехал в Сванетию и был принят моим народом как друг погибшего нашего дорогого Миши.

Джон Хант, руководитель первой победной экспедиции на Эверест, в своей книге «Красные снега» пишет: «...Такая связка, как Кахиани — Хергиани, могла бы добиться успеха в Гималаях». А сэр Джон понимает в высотном альпинизме. Мы с ним познакомились у нас в горах и поднялись вместе на пик «Кавказ». Это было очень приятное восхождение: хорошая погода, красивая вершина. Помню, на маленькой вершинной площадке, на самом краю пропасти, Хант вдруг задремал. Я подобрал веревку потуже и сижу его сторожу. Потом он вроде забыл, как тогда заснул, но у меня есть фотография...

Сам он на вершине Эвереста не был, пожертвовав личной славой ради успеха всей экспедиции. И первыми на вершину Мира взошли шерп Тенцинг и новозеландец Хиллари.

С Тенцингом мы тоже встречались на Кавказе и очень подружились. Я принимал его в своем доме. Потом получил от него такое письмо:

«Мой дорогой Джозеф! Я вернулся в Индию 19 марта 1963 года. Я получил очень большое удовольствие во время моей поездки в вашу чудесную страну и при восхождении с тобой на гору Эльбрус. Большое спасибо за подаренные мне кожаные брюки. Они мне очень нравятся. Я надеюсь, что ты и Миша приедете в Дарджилинг в следующем сезоне. Как замечательно, что мы вместе поднимались на гору Эльбрус. Для меня это большая честь. Посылаю тебе значки Гималайского института альпинизма «Дарджилинг» и нашей Ассоциации шерпов-альпинистов и надеюсь, что ты их получишь. Искренне твой Тенцинг Норгей».

Помню, когда мы только познакомились и поднялись на плечо горы Чегет, чтобы оттуда рассмотреть Эльбрус, он обернулся к стене Донгуз-Оруна и спросил Женю Гиппенрейтера: «А взял ее кто-нибудь?» Женя ему ответил: «Да. Вот эти два человека»,— и показал на нас с Мишей. Мы стояли немного ниже по склону и в стороне. Тенцинг подошел и обнял нас.

Самые большие вершины у нас в стране не превышают семи с половиной тысяч метров. И я и Миша поднимались на них. Будь у нас восьмитысячники, мы, может быть, только высотными восхождениями и занимались бы, ибо стремились решать в альпинизме задачи самые сложные. А достойных стен у нас хватает. Вот мы и занялись стенами.

Но многие технически очень сложные свои стенные восхождения я бы отдал за попытку подняться на восьмитысячник. Как мы с Мишей мечтали об Эвересте! Мы были включены в состав советской Гималайской экспедиции. Но она не состоялась до сих пор.

Теперь уже многие альпинисты из разных стран побывали на Вершине Мира. Наши альпинисты достигли такого высокого класса, что им просто необходимо взойти на Эверест. Это—дело престижа нашего альпинизма и всего нашего спорта.

Высотная вершина — это переход в другой мир: себя не узнаешь, не узнаешь и то, что видишь. Я читал и перечитывал впечатления от выхода на вершины восьмитысячников Тенцинга, Хиллари, Эрцога, Эванса, Тихи... Их слова проникают мне в душу, и я ощущаю, что мои впечатления слабее: значит, я мог бы подняться выше.

Я полон сил, мне еще только пятьдесят пять лет, и у меня захватывает дух при мысли: «Идти на Эверест!» Но мне уже, наверное, не придется, я понимаю... Есть много сильных молодых альпинистов. И если кто-то из них получит возможность идти на Эверест, я буду тоже счастлив.

Большую часть года я живу в Баксанской долине, в поселке Терскол. Работаю инженером по технике безопасности — читай, спасателем — в Высокогорном геофизическом институте.

Я бережно храню фотографии друзей-альпинистов и пройденных стен. На шкафу стоят окованные триконями ботинки, которые лопнули по всем швам, когда на гребне Улу-тау-Чаны в меня ударила шаровая молния. В литературе этот случай называют то уникальным — фотоаппарат на груди расплавился, одежда в клочья, а человек выжил, то курьезным — человека вышвырнуло из ботинок... В шкафу висит пиджак, на котором все мои боевые и альпинистские медали. На противоположной стене укреплены две лесенки, которые послужили нам с Мишей на донгуз-орунской стене.

А в моем сарае стоит мотоцикл, который я сейчас ремонтирую. На этом К-175 КС я проехал по леднику Федченко на Памире, побывал на седловине Эльбруса на высоте 5300 метров. В 1972 году вместе с тремя мотоциклистами-кроссовиками прошел сложный маршрут по Центральному Кавказу. Главный хребет мы прошли перевалом Бечо, где и пешком не каждый пройдет. Конечно, здесь пришлось и тащить мотоциклы на себе и страховаться. Оператор Толя Панин рассказал об этом в фильме «Преодоление», который показывали по Центральному телевидению. Некоторые говорили: «Совсем сошел с ума Кахиани, ходил бы по горам в свое удовольствие, а то еще возит на себе мотоцикл». Но надо знать, какое это огромное удовольствие — на большой скорости проходить горные склоны! Мне и самому раньше не верилось, что можно на мотоцикле ездить по крутому льду, по снегу, по скальным ступеням, каменным осыпям, хотя я давний мотоциклист.

Мы прошли 3 200 километров — из них две тысячи по горам, никогда не видавшим колеса, прошли через семь больших перевалов. И все это за двадцать дней! Попробуйте повторить наш маршрут пешком хотя бы за два месяца!

Несколько лет назад в газетах промелькнуло сообщение, что на вершине Эльбруса установлен мотоцикл. Я эту историю знаю. Один «спортсмен» нанял за ящик коньяка и барана несколько здоровых парней, и они затащили его мотоцикл на Эльбрус. Потом, «забыв» про коньяк и барана, он торопливо уехал в Нальчик, а его мотоцикл альпинисты с Эльбруса сбросили...

Я вспомнил эту курьезную историю, потому что всерьез думаю сейчас об Эльбрусе — о групповом мотовосхождении на вершину Эльбруса и возвращении обратно. Дело трудное, опасное, но возможное. Все зависит теперь от того, как скоро я приведу в порядок свой старенький мотоцикл.

N9, 76